

С(ТЧВ)

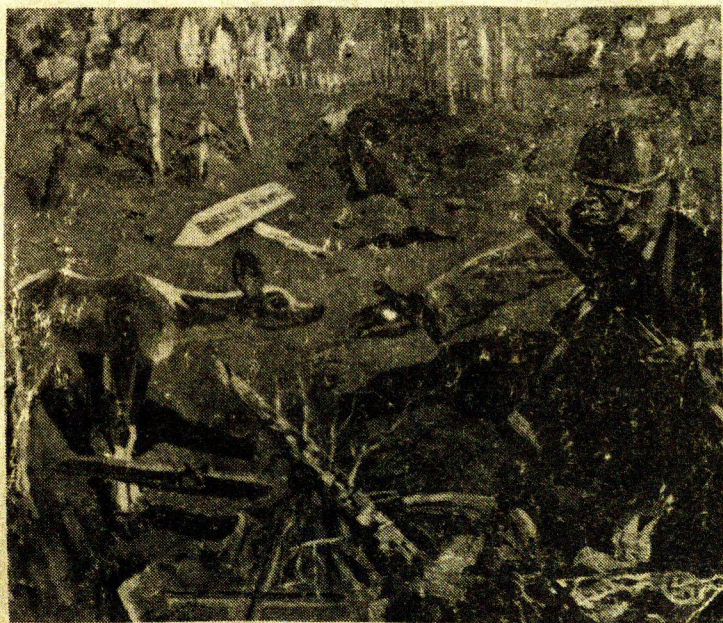
У-47

ISSN.0130.531X

# УЛУГ. 21'85

# ХЕМ

ЛИТЕРАТУРНО-  
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
АЛЬМАНАХ



21'85

ЛИТЕРАТУРНО-  
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
АЛЬМАНАХ

УЛУУТ  
ХЕМИ



*Основан  
в 1946 году*

В номере:

П Р О З А

М. КЕНИН-ЛОПСАН, Е. ТАНОВА,  
Д. САРЫКАЙ, В. ТИМОФЕЕВ,  
М. ПАХОМОВ

Д Р А М А Т У Р Г И Я

А. ЕМЕЛЬЯНОВ

П О Э З И Я

С. САРЫГ-ООЛ, С. ПЮРБЮ,  
П. ЖЕЛЕЗНОВ, Б. ХОВЕНМЕЙ,  
Л. ЧАДАМБА, О. СУВАКПИТ,  
С. КОЗЛОВА, А. ДАРЖАЙ, В. СЕ-  
РЕН-ООЛ

К Р И Т И К А  
Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я

КЫЗЫЛ

ТУВИНСКОЕ  
КНИЖНОЕ  
ИЗДАТЕЛЬСТВО

*Сорокалетию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов посвящается этот выпуск альманаха. Стихи и проза о Победе, о воинском подвиге и подвиге трудового тыла, произведения, написанные в годы войны и по воспоминаниям и документам о ней, представляют широкую и полную картину участия народа Тувы в Великой Отечественной войне, показывают войну и Победу с разных сторон, непрерывную связь времен и поколений.*

Редакционная коллегия:

А. А. КАЛЗАН, Д. С. КУУЛАР, С. В. КОЗЛОВА (редактор),  
Ю. Ш. КЮНЗЕГЕШ (ответственный редактор),  
О. О. СУВАКПИТ, С. С. СЮРЮН-ООЛ, Г. И. ПРИНЦЕВА,  
М. А. ХАДАХАНЭ, Л. Б. ЧАДАМБА.

0—7—3—3  
0—7—4—3

121—170+03+M133

*Монгуш Кенин-Лопсан*

## ДВА ДЕРЕВА ОТ ОДНОГО КОРНЯ

*Из романа «Юрта табунщика»*

...В ту осень наши хорошие знакомые — капитан-пограничник Тарас Михайлович Повидайко и девушка-хирург Ошкулдей Тумат, дочь табунщика Аргап-оола, поженились. Не смогли помешать их любви злые шепотки да насмешки по-за углами, анонимные докучные листки.

Отгуляли свадьбу, и смолкли злые языки. Не совсем, однако, смолкли. Зимними вечерами, когда капитан Повидайко был на заставе, а молодая жена, ожидая его, вслушивалась в каждый звук за окном, случалось ей уловить и чрезмерно громкий скрип снега под сапогами подвыпивших парней, и шумный смех, и целестные слова о себе, о муже, о его родителях: ншь, мол, с Украинны-то и на свадьбу никто не приехал, не сирота же этот Торга-Чанчин!

«Два хошуна — что для нас с тобою? Только бы в ладу мы жили, двое», — постя в старинной песне. Часто наигрывала эту мелодию на своей скрипке Ошкулдей. Привык и, не догадываясь, какие в песне слова, насвистывал ее, чередуя с родными украинскими напевами, Тарас Михайлович.

Однажды к ним в гости... Но расскажем все по порядку.

На вершинах Уларлыга уже выпал первый снег. В такую пору возле реки Булангыг-Хем слышны крики маралов, от дыхания осени небо становится хмурым, и до самого Хоглуг-Суура — то снег с дождем, то дождь со снегом. Вышел в такое утро из дому Тарас Повидайко — и затосковал, вспомнил родную Украину. Побывать бы



там, встретиться с отцом! Нельзя сейчас никуда ехать: Ошкулдей со дня на день может разродиться. И старику лететь в Туву вряд ли врачи разрешат: сердце. Год назад как рвался на свадьбу единственного сына — нет, не позволили, уложили в постель. Ошкулдей знает, какой у свекра диагноз. Она бы тоже не позволила лететь.

Тарас Михайлович вернулся в дом, сел бриться. Только намылил подбородок,— усы он, как всегда, оставит, подкрутит даже немного ради лихого кавалерийского вида,— как в дверь постучали. Меняются привычки людей! Давно ли, кажется, самого Тараса Михайловича здесь, в Хоглуг-Сууре, прозвали Дятлом-Офицером, Торга-Чанчином, и не из-за того ли, что он, единственный в этом селе, стучался в двери, прежде чем войти в дом? И звонок теперь давно поставлен у дверей в дом первого здешнего хирурга, и предупреждать стуком о своем приходе сельчане научились, зато сам Торга-Чанчин...

— Войдите!— откликнулся он, смывая мыло.— Можно не стучать: мы теперь по-здешнему живем, днем двери не запираем.

По-тувински капитан выражал свои мысли не скажу, чтобы чисто, но что он хотел вам сообщить, разобрать было уже можно.

Вошла женщина с почтовой сумкой, протянула желтенькую бумажку:

— Вам посылка. Зайдите на почту, получите.

С Украины! Тарас Михайлович быстро привел себя в порядок, отправился на почту и скоро принес под мышкой фанерный ящик. Запахом яблок наполнилась вся комната. Под крышкой ящика оказалась записка, на листке из тетради, карандашом:

«Милая дочка Оксаночка! Прости старика, не могу как следует прочитать и написать твое имя. По-моему, оно похоже на нашу украинскую Оксану. Кушай яблочки нашего сада да роди нам гарного хлопца или дивчинку. С наступающим праздником Великого Октября, шлю вам с Тарасом свои поздравления. Угостите папу, маму Оксаны и соседских деток. Я немного приболел опять, но, может, соберусь с силами — приеду.

Ваш отец Повидайко М. Н.»

Тарас Михайлович усмехнулся: что значит много лет работать бухгалтером! Всегда, под каждой написанной строчкой, его батько так расписывается — с инициалами после фамилии. И число поставить не забывает — аккуратист!

Капитан вынул из ящика крупное красное яблоко, слегка сжал в руке — и оно само расколосось пополам. Вспомнилось детство. Одну половинку Тарас протянул на ладони жене, другую поднес к губам, но, прежде чем откусить,

долго вдыхал аромат, словно целовал яблоко на тувинский манер. Запах родины...

Ошкулдей вспомнилась сказка, которую рассказал ей однажды, еще до ее свадьбы с Тарасом, бобыль Хек-оол.

«Бывает, два дерева от корня растут одного. Два разные деревья, нет общего в них ничего: береза и ива, лиственница и ель. Листовой говорливой лепечут весной. А в метель укроют друг друга от ветра, от колкости льдин — не сгубит их вьюга, ведь корень деревьев — один! Деревья такие священными звал наш народ. Считали: зависит от них человеческий род. От века нельзя тел-ыяш ни спилить, ни срубить: сгубить это дерево — значит, свой род загубить! Пусть сын Украины возьмет тебя, дочку Тувы: ваш корень — единый, и счастливы будете вы! И вырастут дети, и род преумножится ваш. Никто на всем свете не смеет срубить тел-ыяш!»

В ту же ночь Ошкулдей родила девочку. Назвать ее решила Оксаной — так, как старик свекор называл в письме невестку. Полетела через Саяны в украинский город Ровно телеграмма о рождении нового человека. В ответ пришла другая, совсем коротенькая: «Рад и счастлив лечу Туву двум Оксанам дед Михайло».

То-то загомонили опять по селу! Дед, не побывавший на свадьбе, объявился все-таки! Не сирота Торга-Чапчин, к нему отец летит! Ждали, гадали, каков он собой, «украинашак», старик-украинец.

Ждать пришлось довольно долго, потому что лететь самолетом Михаилу Никифоровичу врачи все-таки не разрешили. И он поехал поездом. Дней десять, не меньше, добирался с разными пересадками. В Абакане сменил поезд на автобус, потом еще автобусом — до райцентра, а оттуда уже на военной машине привез капитан Повидайко отца в Хоглуг-Суур. К тому времени и Ошкулдей с ребенком из больницы выписалась, и тетушка Севил, как ни привыкла вековать в юрте, принарядилась, прихватила с собой тисненый кожаный когээржик самой крепкой араки — свата угостить — и спустилась с горной стоянки к дочери в село.

В дом семьи Повидайко она вошла чуть позже нового родственника. Михаил Никифорович успел уже и невесткой полюбоваться, оценить ее стать и тяжелый узел черных волос. И одежду дорожную переменял на полосатую пижаму и мягкие тапочки. Не терпелось ему и внучку на руки взять, да не решался: строгая, видать, невестка, вдруг не позволит?

Зять Тарас с двумя солдатами хлопотал во дворе. Тетушка Севил поднялась на крыльцо, открыла дверь и сразу увидела гостя. Вот уж не подумала бы, что бывают такие круглые головы — совсем шар! И выбрита до блеска, только ближе к ушам седенькие волосинки пробиваются, как травинки из-под большого валуна. Усы, правда, есть, но не та-

кие форсистые, как у зятя Тараса, так, реденькие, серенькие. Зато брови — черные-пречерные, широкими дугами. Голова как-то незаметно переходит в короткую крепкую, а может, даже и отечную шею. Спина ссутулена. Рубаха и штаны на госте в одинаковую радужную полоску, на ногах что-то вроде женских босоножек — пятки так и сверкают. Все это разглядела Севил любопытным взглядом, пока шла навстречу старику, протягивая ему, по старинному тувинскому обычаю, обе руки ладонями вверх. Гость в ответ протянул только одну руку, правую, и, взяв правую же руку женщины, крепко пожал ее. Ну и ручища! Тонкие пальцы Севил будто в клещи попали. Неженкой отроду не была, коров и кобылиц доила, всякую работу по хозяйству делала, должны бы загрубеть руки — но нет, как огнем обожгло пожатие свата. Где же он-то, бухгалтер, так руки натрудил? В саду своем?

«Чернобровый», — только подумала Севил, и уже по всему селу Хоглуг-Суур понеслось прозвище врачихинного свекра, табунщика свата: «Кара-Кирбик», Чернобровый.

— Будем знакомы. Вы, верно, мама нашей Оксаны-большой? Позвольте уж так называть Вашу дочку, а мою невестку, раз у нас теперь есть и Оксана-маленькая, — густо забавил сват. Севил, конечно, не поняла ни слова. Нет, одно слово все-таки поняла: «Оксана», ей уже сказали, что так зовут впучку. Подошла Ошкулдей, радостно улыбнулась матери и тотчас приступила к исполнению обязанностей переводчицы:

— Дедушка приехал посмотреть на дочь своего сына Тараса, — так передала она содержание первой фразы, сказанной гостем. И дальше разговор пошел сам собой.

Когда сели за стол и отпробовали угощенья, Кара-Кирбик от глотка тувинской араки зарумянился, в карих глазах появились слезинки. Сын сидел рядом с отцом, наглядеться на него не мог, ему и теще подкладывал на тарелки лучшие куски. Ошкулдей занималась ребенком, время от времени выглядывала из спальни и, убедившись, что за столом все в порядке, всего всем хватает, возвращалась к доченьке. Забегали в дом соседские дети, старик тотчас достал для них гостинцы, оделил каждого яблоком и какой-то особенной длинной конфетой в яркой обертке, да еще и откозырял не хуже самого капитана Повидайко, хоть был вовсе не в военной форме. Сватья смотрела на него с удовольствием, любовалась черными бровями. И захотелось ей поговорить с новым родственником, как со старым другом.

— Сы-ват, — неуверенно начала она, как ей казалось, порусски. И тотчас из спальни легкой бабочкой выпорхнула Ошкулдей, готовая переводить.

— Вы в Ровно живете, сват? — с помощью дочери спросила гостя жена табунщика. — В самом городе Ровно? И в войну тоже там жили?

— И в войну,— кивнул Михаил Никифорович.

— И добровольцев наших там видели, сват? Сата Бурзекея видели?

— Бурзекея!— вскрикнул Кара-Кирбик, вскочил и, раскинув руки, кажется, готов был обнять родственницу. Словно пташка, напуганная соколом, вскочила и Севил, мигом пересела поближе к Ошкулдей, едва не спряталась за дочь. Чернобровый сват, опомнившись, тоже сел, мысленно поругал себя — разогрела же кровь тувинская горилка!— и уже сдержаннее заговорил:

— Кто же у нас не знает Сата Бурзекея! Вся Украина его знает и помнит. О нем и в книгах, и в газетах пишут. Такой человек, такой командир! Коммунист настоящий! Интернационалист! В вашей земле родился, в Советской России учился, за нашуеньку-Украину жизнь отдал. Так ведь? Бурзекей Сат Сурасович его звали по имени-отчеству, старший лейтенант, командир пятого пулеметного взвода. Знаю, как он погиб. Только это не в Ровно было. Но недалеко от нашего города. Бои шли за освобождение сел Погорельце, Сурмичи, города Дубно. Там, возле Дубно, Иква есть, река такая. Вот на этой реке, на берегу ее, поставили бойцы Сата Бурзекея фашистам заслон. Пулеметным огнем отсекали, перерезали им дорогу. До последнего сражались пулеметчики. И все полегли. Как один. Было их одиннадцать. Бурзекей, командир, последний в живых остался. И продолжал строчить из пулемета, пока не пробил ему голову пуля фашистского снайпера. А шел ему тридцать второй год, он ведь был, как я, с двенадцатого года рождения. Вот и все, что я про Бурзекея знаю. Памятник ему видел в Дубно. И у нас, в Ровно, в музее — много о нем. Самого-то его не видел, не знаю. Может быть, Вы его знали, сватья?

Севил слушала, качала головой, ей и без перевода Ошкулдей были понятны названия — Ровно, Дубно, Сурмичи. Много раз их слышала. Отчество Бурзекея — Сурасович,— произнесенное сватом, заставило пожилую женщину улыбнуться. Наконец, гость умолк. И тогда заговорила она.

— Сват мой,— переводила Ошкулдей,— должно быть, много читал книг о наших тувинских добровольцах. О Бурзекее читал. Писатели хорошо написали. Только я расскажу такое, чего ни один писатель не напишет. Я-то ведь росла с ним вместе.

— С Бурзекеем?— переспросил гость.

— С Бурзекеем,— кивнула Севил. И спохватилась:— Ой, ужас! Который раз уже называю имя умершего человека. Не положено это у нас. Ну, да что теперь поделаешь — стану и дальше всех называть по именам, как их, живых, звали. Командир этот, земляк мой, родился в год Мыши, я и сама тоже в год Мыши родилась. Мать у него звали Ачыкаа, жила



она в юрте одна, без мужа. Сурасович — это не отчество. Сурас — слово такое — объясни ему, дочка, — значит, незаконнорожденный, безотцовщина. Кто был отцом Бурзекея, мы не знали, мать не говорила. Поздней осенью он родился, на стоянке Чаш-Терек, Тонкий Топольник, в Хоидергес. Я и сама из тех мест.

— Сватья, — перебил Кара-Кирбик, — вы, говорите, росли вместе? Учились? Играли? Рассказывайте, рассказывайте.

— Овечек пасти мы тогда учились, — задумчиво улыбнулась Севил. — Сначала нам только малых ягнят и козлят доверяли, и ходили мы за ними пешне. Подросли немного — сели на бычков, верховыми стали, у Даштыг-Хавак, Каменистого Пригорка, на краю Чаш-Терека овец пасли. Там теперь только следы от юрт остались, а люди все умерли. Он, землячок мой, петли там ставил, ловил разную мелкую дичь. Поймаем, испечем на углях костра и едим в охотку.

— Смотрите, как похоже наше детство, сватья! — опять разволновался Кара-Кирбик. — Я малым поросюточек да гусяточек пас, после с конями в ночное ездил. И в костре мы пекли — картошку. Жалко мне потом было кабанчиков, когда приходило время отцу колоть их на зиму. Раз как-то я попробовал было вступиться — ох, и крепко меня наказали! И у вас бывало такое?

— Как не быть! — Севил тоже раздумянулась, помолодела, будто вернулась к ней те давние детские годы. Ошкулдей еле успевала передавать ее слова. Да гость, кажется, и без перевода уже все понимал.

— У нас с Бурзекеем, — вспоминала Севил, — все случилось из-за крыжовника. У вас на Украине крыжовник растет? В садах, Вы говорите, растет? У нас — в скалах. В голубых скалах росло много крыжовника. Ягоды только-только поспели. Мы привязали своих бычков и пошли туда, к скалам. Ягоды висят — точь-в-точь желтовато-зеленые бусинки, покачиваются. Бурзекей собрал горсточку, мне протянул. Слаще в жизни не ела! Стали мы эту ягоду собирать да лакомиться. Время было — полдень. Слышим вдруг: наши бычки зафырчали носами. Огляделись — где же овцы? Разбежались все, видно, напугал кто-то. Смотрим: вдоль оврага огромный волк белоголовую овцу волочит. То бросит ее наземь, то опять схватит — и пу крутить, пу вертеть! Овца вскочила на задние копыта, волк тоже на задние лапы поднялся, схватились они, точно два борца на хуреше. Мы кричим — волку хоть бы что. Рванул он зубами, сразу у овечки внутренности вывалились.

С криком да со слезами пригнали мы в аал наших овец. Бурзекей не стал дожидаться, пока их пересчитывать начнут, сразу смело сказал: одну, мол, овечку задрал волк, из-за холма подкрался. Похватили люди ружья, на коней — и к

скалам. Волк там еще был, овцу дожирал. Дорого нам обошелся тот крыжовник.

В комнате заплакала девочка, и все, вслед за Ошкулдей, положившей свою скрипку, перешли туда. Кара-Кирбик прикоснулся к люльке, стал нежно ее покачивать, что-то тихонько напевая по-украински. Песня была протяжной и печальной. Слов в песне деда не разобрать было, разве что повторялись «дивчино» и «Оксана».

Не отрываясь, смотрела на свата Севил. «Вот так: родственные чувства рождаются от любви к малому ребенку», — подумала она. И вдруг Кара-Кирбик заплакал. Он продолжал напевать, покачивая люльку, но по его уже не румяным — побагровевшим щекам прозрачными, как тот крыжовник, бусинами катились слезы.

— Ну, что ты, батько, — мягко заговорил капитан Повндайко, — или ты не казак?

Старик повернулся к сыну страдальчески сморщенным лицом и, перестав петь, прошептал почти беззвучно какие-то имена. Потом вздохнул и снова стал качать люльку. Он так и задремал, сидя и чуть покачивая внучку, задремал вместе с малым ребенком, убаюканным его колыбельной.

— Своих вспомнил, — шепнула матери Ошкулдей, выходя из спальни. — У него же не один Тарас был, еще и дочка, и сынишка старшенький. И жена, мать нашего Тараса. Всех фашисты повесили, когда Михаил Никифорович в партизанах был. Тарасика соседка спрятала. Для меня сохранила. А его волновать не надо. Очень большое сердце у Михаила Никифоровича. С тех самых пор. Потому он и бухгалтером стал. Нельзя ему делать тяжелую работу. И араки пить не надо. Ну, ничего. Сейчас мы его уложим, я посижу, пока он здесь. Получше станет...

— Получше станет — мы с батьком к вам на стоянку приедем, — пообещал капитан, — встретятся дед Арган-оол с дедом Михайлой.

«А говорил — Торга-Чанчин не сирота», — эта мысль мелькнула в голове Севил, как только она узнала о судьбе жены и старших детей Чернобрового. И, глядя сквозь приоткрытую дверь спальни, как продолжает он, уже во сне, покачивать люльку, она задумалась: «Какое диво и какая сила через хребты Саянские сюда больного человека затащила — в такую даль! Любовь родительская — вот ей имя. Сильней болезни, старости сильней, она зовет, она ведет к любимым, все заставляет делать для детей. И мне ли, матери, не знать об этом? ...Жену, детей сгубили палачи. Уснул над люлькой. Встанет ли с рассветом? А вдруг большое сердце замолчит? Нет. Дочь моя вернет тебе здоровье, как внучку подарила —

дочь Тувы. Сроднились мы родительской любовью — законы новой жизни таковы. Твой сын — мне зять, и наших внуков вскормит, вспоит, взлелеет край родимый наш. От одного и мы отныне корня, как близ Буланныг-Хема — тел-ыяш!»



*Екатерина Танова*

## ИЗ «ПОВЕСТИ О СТАРШЕМ БРАТЕ»

### Оркестр играет прощальное

В эту ночь Чылбак почти не спал. Через окно он видел звезды, поблескивавшие на темном небе: казалось, они молча наблюдали, что происходит на земле. В казарме — тишина. Нет, не совсем тихо: то одна койка скрипнет, то другая — должно быть, кто-то с боку на бок ворочается. Не один Чылбак — многие его друзья не спали. Да и как заснешь — последняя ночь на родной земле, завтра отправляться на фронт! Всего несколько часов — и бойцы простятся с Тувой, с родными, близкими, а увидятся ли снова? Тревожные мысли... Отогнать их, думать о другом.

Завтра они поедут через заснеженные Саяны. Хребты Самыны, как называл эти горы дедушка Эдер-Хорек. Чылбак никогда не бывал на Саянах, но слышал о них от дедушки много интересного.

Ночи напролет мог старый Эдер-Хорек рассказывать всякие были и небылицы. Начинал нараспев и как будто стихами:

На хребтах Самыны, в высотах Самыны,  
там следы мои, знаю, и нынче видны...

и продолжал скороговоркой:

Вот надену я шубенку,  
бродяжонки натяну,  
за плечо ружье-кремневу —  
и подамся в Самыну!—

тут разудалая частушка сменялась плавным, торжественным сказом:

Тайга мне сама свои двери откроет,  
отвесные скалы дорогу покажут,  
зверье набежит на поляны гурьбою,  
и каждый «Здравствуй» мне скажет...

Кто, бывало, ни придет в такую пору в юрту — все дивятся дедушкиному красноречию. Так и говорят: «Старый Эдер-Хорек за словом за пазуху не полезет...»

Чылбак не знал, никогда не слышал настоящего имени деда. Кто и когда наградил старика прозвищем «Эдер-Хорек», не знал тоже, но подходило оно деду исключительно. Душа параспашку! И правда, даже в самые сильные морозы шуба у него на груди всегда была распахнута, как будто жарко старому, немоготу. И голос у него был такой сильный — в своем аале говорит, в соседнем слышно.

Чего только не передумал Чылбак в эту ночь, и вот затосковал по деду. Сестру, которая жила в городе, просил никому не говорить, что он уезжает на фронт добровольцем. Разве что деду и отцу... И то потихоньку. Чтобы мать не узнала. Но отец же не сдержится, непременно матери расскажет. А она — всей родне... И начнут слезы лить. Нет, нельзя об этом говорить матери. На работу, на дальний прииск, и то едва отпустила сына. А теперь — на фронт! Нет и нет. Матери — ни слова. Узнает — все глаза выплачет. Да, тяжело с ней расставаться. А нужно.

Вчера сестра, с разрешения начальства, пригласила его к себе домой. Проводины устроила. Много народу собралось, много было сказано добрых слов, пожеланий. Жаль, дедушка не успел приехать... Едва только Чылбак подумал об этом, сестра словно подслушала:

— Приедет ведь дедушка наш. Может, даже сегодня ночью и явится. Писала я ему. Если только получил письмо — кто же его оставит?

«Хоть бы приехал скорее!» — подумал Чылбак.

— Подъем! — прозвучала команда. Мигом все вскочили с косяк.

Первое сентября. Первый день золотой осени. Такой чудесный безоблачный день. Казалось, все бежит в прозрачной дымке. Прохладный ветерок порой овеивал парней, как будто хотел остудить взволнованные сердца молодых бойцов.

Сколько народу собралось на центральной площади города! Как говорится, кулак спрятать негде. Все пришли провожать на фронт тувинских добровольцев. Чылбак искал глазами в толпе. И нашел. Вон он, дедушка Эдер-Хорек! Продирается, грудь, как всегда, параспашку. А за ним — вся родня, только отца с матерью не видно. Чылбак, на мгновение забыв о воинской дисциплине, выскользнул из строя — в толпу, навстречу деду! Вместе они вернулись в его взвод.

— Дедушка, да ты совсем не изменился! Я-то думал, ты уже старый-престарый! — радовался Чылбак.

— А ты-то каков! Вымахал — красавец, а? — восхищался внуком дед. — И форма, форма солдатская как тебе к лицу! Вот и приласкай такого большущего — макушку не достать!..

И все-таки дед снял с Чылбака солдатскую шапку, нагнул его голову и, по тувинскому обычаю, вдохнул запах волос. Остальные родственники по очереди потянулись к парню с подарками.



— Эх! — нахмурился дед, — хотел я тебе, сынок, свою старую кремневку подарить — оружие — не оружие, а вроде талисмана, но, пожалуй, мешать она тебе будет. И к чему она там? Вам всякое оружие выдадут, от сабли до пушки, не правда ли? А вот ножичек возьми. Старенький он, как я сам. Смолоду сам и сковал его из закаленного булата. Много лет мне служил на охоте. Возьми на память от старого деда. Это — тоже оружие.

Из-за голенища мягкого пиджака дед Эдер-Хорек вынул маленький ножичек в кожаных ножнах, с желтой роговой рукояткой.

— Спасибо, дедушка! Я этот ножичек помню. Ты же им всегда нам дудочки, мургу, из веток вербы вырезал... — Глаза Чылбака заблестели, словно у мальчишки, получившего, наконец, желанный гостинец. Он вынул ножичек из ножен. Солнечные лучи заиграли на узком стальном лезвии. Тронув сталь пальцем, Чылбак снова спрятал ее острое сияние в ножнах и положил в карман.

Митинг начался. Руководители партии и правительства, представители трудящихся выступали перед добровольцами, напутствовали их. Дед Эдер-Хорек, хоть и не положено, стоял в строю рядом с внуком и тихонько говорил ему:

— Слышишь, сынок, какой наказ вам народ дает! Бо-ольшое доверие оказывает. Свой очаг, землю свою от врагов защищать мужчине на роду написано. Знаешь теперь, кто такой этот пашыст Хитлер? Пусть ваши руки не дрогнут, сынки мои! С победой вернетесь, знаю, буду ждать вас! — сильный грудной голос деда четко выделялся среди шума и говора многотысячной толпы. Каждому бойцу казалось: слова Эдер-Хорека сказаны именно для него. А провожавшим — что старик говорит от их имени.

Тронулась в путь колонна автомашин, увозившая добровольцев. Прощальный марш заиграл духовой оркестр. Двинулись за машинами провожавшие, так и шли до самого парома, до переправы через Енисей, а потом долго стояли на берегу — пока не смолк вдали гул моторов.

## **Встреча в пути**

В Абакане остановились ненадолго. Казарма была недалеко от железнодорожного вокзала. О железной дороге и прочих чудесах этого в общем-то недалекого от Тувы города Чылбак был слышан от скотогонов Куженской базы. «Люди там — такие же, как у нас, черноголовые, и многие слова у них с нашими схожи. И город — вроде Кызыла. Только вот паровозы... Так через город туда-сюда и бегают. Ревут — куда там верблюду-самцу во время гона!» — говорили они. И вот он, Абакан. Правда, от Кызыла мало отличается.

Но резкие паровозные гудки то и дело рассекают тишину. Осень. Деревья роняют листву, желто-зеленым ковром стелется она по деревянным тротуарам.

Осень. Такая же, как и на Хемчике, где родился Чылбак: голубое ясное небо, стаи перелетных птиц... Прощально курлыкают журавли. Не такой ли длинный журавлиный клин каждую осень пролетает и над родным аалом? Больно защемило сердце у парня. Берега речки, где играл в детстве, кудрявые березы и задумчивые вербы, любимые лица — все так и замелькало перед глазами. Осень, осень! Впервые встречает он осень в незнакомом городе. Где-то доведется встретить везну?... Чылбак шел молча, не вслушиваясь в болтовню друзей.

Прохожих на улице было мало. Лишь на противоположной стороне Чылбак заметил старую женщину, до глаз повязанную пестрым платком. Подол ее длинного платья почти подметал опавшие листья. Поверх платья — серенькая телогрейка. Временами женщина останавливалась, вглядывалась в молодых бойцов. Потом вдруг замахала рукой и быстро пошла к ним через дорогу. Парни остановились. Сперва они не поняли, о чем с таким жаром говорила старая хакасска, мешая русские, тувинские и еще какие-то слова. Веселый, находчивый Монгештей смело заговорил по-русски:

— Мы — тувинцы, тетенька. Приехали из-за Саян. На фронт едем, фашистов бить!

Женщина кивнула — поняла, мол, — и продолжала говорить так же быстро, сбивчиво, временами утирая слезы. Кое-как ребята поняли: на фронте воюют ее муж Данил и сын Егор, и ни от того, ни от другого давным-давно нет писем. Женщина говорит об этом каждому военному, всех просит узнать, что с ними там, на войне...

— Хорошо, бабушка. Мы постараемся найти на фронте твоих Данилу и Егора. Пожурим их: чего, мол, не пишут? И сами напишем тебе, — заверил от имени товарищей веселый Монгештей. Женщина поняла, быстро-быстро стала крепиться и что-то шептать — должно быть, молитву.

Когда старой женщины уже не видно было на дороге, Чылбак спохватился:

— Адреса-то мы и не записали. Куда же будем письмо посылать? Вдруг и вправду найдем ее Данилу и Егора?

— Найдем — так узнаем, куда надо писать. Или напишем так: «Хакасская столица Абакан. Матери Егора, жене Данила. От тувинцев, с фронта», — неужели не дойдет такое письмо? — ответил Монгештей.

— Дойдет! Куда денется! — откликнулись со всех сторон.

Рано утром следующего дня добровольцы сели в поезд. Теперь их путь лежал на запад.

## Первый бой

Шли последние месяцы суровой зимы 1943 года. Уже ясен был исход войны, и, должно быть, оттого, что на победу ему рассчитывать уже не приходилось, еще сильнее свирепел враг. Все, что встречалось на его пути,— уничтожал, предавал огню.

В Муроме, в Коврове, бывало, после учебных стрельб случались между тувинскими бойцами такие разговоры:

— Что задумался, Чылбак?

— Да вот, смотрю на эти мишени... На войне, конечно, все будет не так. Вражеские солдаты — не мишени, не будут они вот так, строго по очереди, передвигаться перед нашими глазами, знай стреляй из укрытия...

Конечно. И не полежишь там вот так спокойно, не подумав — живо на тот свет отправят.

— На войне — да... Вообще как-то в голове не укладывается: люди, живые люди вот так целятся и стреляют друг в друга, человек в человека, как в мишень, как на охоте — в зверя или птицу! Никак не пойму, чего этим немцам падо, что не жилось им у себя в Германии, кто их научил захватывать чужие земли, убивать?

— Гитлер — кто же еще?..

Те разговоры, как правило, заканчивались пожеланиями самой жестокой кары и самой лютой смерти Гитлеру. В необходимости бороться против фашистов добровольцы, разумеется, никогда не сомневались, были готовы вступить в борьбу с оружием в руках, которым неплохо владели. Но выстрелить в живого человека...

Теперь, при виде испепеленных сел и деревень, убитых стариков, женщин, детей, лютой ненавистью наполнялись сердца тувинских добровольцев. Зрелище фашистских зверств порождало в них великий гнев.

В белорусском городе Рославле остановился железнодорожный состав. Дальше, после короткого отдыха, тувинский добровольческий кавалерийский эскадрон продолжал путь в конном строю. Приближаясь к деревне Снегиревке, впервые услышали тревожный и безжалостный голос войны. В воздухе запахло гарью. Временами откуда-то из-под земли слышался чудовищный приглушенный гул.

Чылбаку вспомнилась слышанная в детстве сказка: почуяв приближение весны, морской бык мычит в глубине озера Сут-Холь. Но здесь все было по-другому: близко линия фронта, звуки взрывов и выстрелов, рокот моторов самолетов и танков сливаются в этот страшный гул...

Эскадрон влился в 31-й гвардейский кавалерийский полк восьмой Морозовской кавалерийской дивизии. Командовал полком Ефим Абрамович Попов. Предстоял добровольцам

марш-бросок не на одну сотню километров, впереди были жестокие бои с четвертым танковым корпусом врага.

И вот — первый бой. Полку предстояло взять деревню Деражно, в которой закрепились фашисты. Деревня — вот она, за речкой Горынью. Эскадрон ожидал сигнала к атаке.

Мучительно тянулась тишина. И вдруг резко, гулко, сильнее громов июньской грозы, ударила наша артиллерия. Минуту, вторую, пятую беснуется по деревне адский огонь. И вот команда — вперед! Сотни копыт забухали по мерзлой земле, засверкали выхваченные из ножен клинки. Чылбаку казалось: он не скачет, а летит в потоке этой бури, и она сокрушит фашистов! Впереди конь Монгештея не скачет — стелется над землей, выбрасывая копытами мерзлые комья.

Да, враг в деревне засел накрепко. Даже свирепый огневой налет артиллерии не смог подавить все его огневые точки. Пулеметы посылали навстречу конникам веера трассирующих пуль, били пушки, изрыгали огонь бронетранспортеры. Кругом — неистовый рев металла и огня. Захлебнулась атака. После коротких, но сильных артналетов полк еще несколько раз пытался овладеть деревней, но тщетно — огонь фашистов почти не ослабевал.

Пришлось по команде отойти. Тувинский эскадрон спустился в ложину и стал приводить себя в порядок: кавалеристы подтягивали подпруги седел, проверяли оружие. Кое-кто уже и раны перевязывал — себе или товарищу...

Рядом с Чылбаком стоял Тонгак Таржа. Похлопывая коня по шее, хрипловато говорил:

— Конь-то мой, оказывается, бывал уже под пулями. Как зажужжали свинцовые пчелы, сразу к земле припал, так и стелется на скаку.

— Хорошие кони у нас, умные, — похвалил и Чылбак, стараясь унять дрожь в теле. — Только вот устали... Покормить бы их сейчас. Кстати, вон и стожок сена...

Таржа сорвался с места, следом — Чылбак, но до сена друзья не добежали. Оглушительный разрыв снаряда, за ним — второй, и пошло!.. Неистовый грохот, огонь, крики людей, ржание коней — настоящий ад.

Сквозь клубы дыма Чылбак увидел, как вскочил Таржа, попытался перебежать в низинку — и упал. Упал вниз лицом.

— Что с тобой, Таржа? — Чылбак сам не помнил, как оказался возле друга. Тормошил его, старался перекричать грохот разрывов...

И Таржа его услышал. Перевернулся на спину, болезненно морщась, выговорил с трудом:

— Контузило, кажется... Ничего, оклемаюсь.

А вражеский артналет неистовствовал. Неподалеку, на поводу, металл испуганный взрывами конь Себен-оола. Вдруг он поднялся свечкой, словно пытаясь сесть на задние ноги, жалобно заржал и упал.



— Себен-оол! Живо садись сзади меня!— крикнул товарищу Чылбак. Он уже успел вскочить на своего вороного. Мгновение ока — и Себен-оол уже за его спиной. Конь с места рванул в галоп, и через минуту всадники были вне опасности.

Обстрел прекратился так же внезапно, как и начался. Эскадрон поредел: есть и убитые, и раненые, погибло много боевых коней... На земле бездыханный лежал Сепгин. Санитарки все еще зачем-то хлопотали вокруг него. Не верилось: еще несколько часов назад он шутил, пел, рвался в атаку. Смерть товарищей болью отозвалась в сердцах добровольцев. Ненависть к врагу утроилась.

Уже через несколько минут им предстояла новая атака. Раненный в руку командир полка прискакал к тувинскому эскадрону. С первых минут боя наблюдал он за добровольцами и убедился: это — смелые, решительные парни, панике не поддались под вражеским огнем, дерутся, как настоящие сибиряки. И вот он выбрал момент поздравить новичков с боевым крещением, высказал уверенность, что боевая задача будет выполнена успешно. Слова командира вдохновили бойцов.

Полк снова ринулся в атаку.

— Эскадрон! За Родину, вперед!— подал команду капитан Кечил-оол. И конники ринулись — лавиной, бешеным наметом. Речку Горынь словно перелетели. А навстречу лавине — снова веера трассирующих пуль, опять взрывы, огонь и смрад. Но вот — околица деревни Деражно. Еще немного — и фашисты стали отходить к центру деревни, устилая улицу трупами и ранеными, бросая оружие и амуницию. То там, то здесь мелькали клинки, опускались на головы обезумевших от страха фашистов.

Однако из хат и из-за заборов враги продолжали стрелять. Еще один, последний рывок — и эскадрон вышел к центру деревни, соединился с другими эскадронами наступающего полка.

Казалось уже — вот она, победа! Но нет. Опять усилился огонь фашистской артиллерии. Вот упал командир взвода Монгуш Сат, помкомвзвода сержант Сундуй ранен... Мгновение растерянности — что делать без командира? — могло дорого обойтись добровольцам. Но тут раздался звонкий девичий голос санинструктора Севил:

— За нашего комвзвода — вперед, ребята!

Команда взбудрила бойцов. В пешем порядке пошли они через огонь, вперед. Сотня метров пройдена — и Севил, передав взвод кому-то из бойцов, вернулась к раненым.

Сумерки быстро окутывали землю. Медленно, но неотступно, хата за хатой, занимали бойцы деревню. Но враг еще держался в малой ее части.

Рослый парень подполз к Чылбаку. Прямые черные волосы, все в мелких бисеринках пота, виднелись из-под его шапки. Свирепы были глаза раскосого азиатского разреза на его смуглом лице, плотно сжаты губы. Такой черту хребет сломает. Где же Чылбак видел этого парня прежде? Но тут было не до воспоминаний: свистнула пуля, ушанка Чылбака отлетела в сторону. «Снайпер»,— догадался конник. Отполз к углу сгоревшей мазанки, выглянул— на крыше другой хаты, метрах в сотне от пожарища, с трудом различил фигуру солдата в немецкой форме с винтовкой.

— Сейчас ты у меня спляшешь!— зло крикнул Чылбак.

Аккуратно прицелившись, он мягко нажал на спуск карабина. Снайпер, как мешок, свалился с крыши. «Одним гадом меньше»,— заметил про себя Чылбак. Но вместо одной там же, на крыше, замаячили две головы. Чылбак, как на ученье, выцеливал их, давил на «собачку». Эти двое не упали с крыши, но солдат чувствовал, что не промазал.

«Так-так, в активе трое. Неплохо для начала»,— эти подсчеты помогали бойцу быть спокойно сосредоточенным.

Черноволосый сосед Чылбака тоже стрелял и удовлетворенно покрякивал. Видно, и его пули ложились в цель. Улучив минуту передышки, он ухитрился подобрать шапку нашего добровольца и с улыбкой подал ему. Они обменялись взглядами, готовы были заговорить, но властная команда «Вперед!» подняла обоих. Конечно, и они, и все, кто был в том бою, уже смертельно устали, но все еще были возбуждены.

Напряжение первого боя... Тяжелым, кровопролитным был он. И все-таки — успешным.

Грозные танки погнали врага дальше, на запад, а кавалерийскому полку была предоставлена возможность передохнуть немного, подготовиться к предстоящим боям. Тут и там загорались костры. Добровольцы рассказывали друг другу разные эпизоды своего боевого крещения. Слышались уже и шутки, и смех.

Балагур и весельчак Тонгак Таржа тонким голосом выводил частушки, от которых солдаты хватались за бока в неистовом хохоте:

Ночка темная такая...  
Не милашка ли идет?  
Где там милка! Фриц шагает,—  
голова не унесет!

Сощурив и без того узенькие щелочки глаз, Таржа так и сверлил ими черноокую санитарку Сынаа:

Если б завтра да не в бой,  
поженились бы с тобой.  
Ну и что же, что война?  
Все равно судьба одна.

При свете костра Чылбак вдруг увидел опять того незнакомого смуглолицего парня, с которым был рядом в бою.

— Смотри-ка — это не Егор ли? — дернул он Монгештея за рукав.

— Какой еще Егор? Абаканский! — догадался тот. — О котором старуха говорила, да? Постой, постой! Да, конечно, он! Пойдем снимать допрос! — и, крепко схватив Чылбака за локоть, потащил его прямо к парню.

— Ты, кажется, Егор? — без предисловий начал Монгештей.

— Нет, я — Мурад.

— Это что за имя такое? Откуда ты?

— Из Казахстана.

— Значит, действительно не Егор, — на лице Монгештея угадывалось огорчение.

— А вам что, Егора надо? Так я его знаю. Тут он, сейчас приведу! — и Мурад исчез в темноте. Через минуту вернулся, таща за руку такого же смуглого молодого азната.

— Вот он, Егор, нате вам, — сказал, смеясь.

Монгештей так и набросился на ничего не понимавшего парня:

— И не стыдно тебе, Егор? Почему матери домой не пишешь? Извелась совсем бедная, каждого встречного о тебе спрашивает. Совести нету! А отец твой где?

— Как где? Дома. С матерью. И я все время им пишу.

— Дома? Да разве он не воюет с тобой?

— Нет, он у меня старенький, — извиняющимся тоном сказал парень.

Догадываясь, в чем дело, Чылбак спросил:

— Егор, а ты откуда?

— Из Якутии.

— Значит, ты не Егор, — с досадой пробормотал Монгештей.

— Как же не Егор... Я самый и есть Егор!

— Егор, да не тот. Нам абаканского надо.

Долго смеялись парни над этой ошибкой, и потом уж познакомились по-настоящему.

При свете костра Чылбак стал писать домой письмо. Он помнил, как сокрушалась мать Егора, и спешил порадовать родных, послать им горячий привет с фронта, сообщить, что жив и здоров, был уже в бою и что сегодня, 30 января, тувинский эскадрон освободил украинскую деревню.

## **На улицах Ровно**

Последняя ночь января была такой темной — ушей своего коня бойцы не видели. Мягкая украинская зима начала сдавать «позиции». Шел мокрый снег. Большие хлопья, не

успев сесть на шинели и шапки, таяли. Добровольцы тихо переговаривались.

— В Туве сейчас мороз. Самая зима! А тут...

— Да тут, можно сказать, уже весна. Скоро, небось, и сеять начнут: Украина, говорят, страна хлебная...

Чавкала грязь под копытами лошадей. Тихо позванивали стремена. Совсем бы мирные звуки, и тишина, если б не гул моторов идущих впереди машин. Темной глухой ночью, лесными чащами, болотом дивизия незаметно для врага подошла к линии фронта. До рассвета надо быть на передовой.

Под утро потянуло холодом. Стал накрапывать мелкий дождик. Лужи сразу затягивало льдом. Трудно стало коням. Гололед мешал движению. Пришлось бойцам спешиться. На болотах некоторые участки приходилось преодолевать ползком. Коней вели в поводу, в обход топей. Люди страшно устали. Их шинели, отяжелевшие от воды, и раскисшие сапоги казались многопудовыми. А когда выбрались кое-как из болота, одежда сразу покрылась тонкой коркой льда. Но люди шли и шли вперед. Лишь немногие из них знали или догадывались, что совершают ночной переход в тылу врага.

Занять участок севернее города Ровно — таков был приказ кавалерийской дивизии самого командующего первым Украинским фронтом генерал-полковника Ватутина. С юга город должны были атаковать пехотные части. И вот, на рассвете, каждый полк получил определенное задание.

В промозгом утреннем тумане лежал центр оставшейся еще оккупированной гитлеровцами части украинской земли. Не гудели, не дымили заводы, лишь кое-где из труб струились жиденькие столбики белесого дымка. Казалось: то слабое и редкое дыхание выбившегося из сил за три года — три года! — под немецким сапогом города.

Вообще-то Ровно — город небольшой, но в стратегическом плане для гитлеровцев был он очень важен. Прежде всего, как железнодорожный узел. К нему подходит несколько автодорог, по которым легко перебрасывать войска... Оттого-то фашистское командование и старалось удержать город любой ценой.

Занять железнодорожную станцию, оседлать шоссе и тем самым открыть советским частям путь в город — вот задача 31-го полка. Тувинский эскадрон получил приказ захватить на северо-западе Ровно сахарный завод и затем принять участие в захвате станции. Из первого боя тувинцы извлекли хороший урок: стали более осмотрительны и расчетливы.

— Вперед! В атаку! — подает в тишине команду капитан Кечил-оол. Почти без шума, ровной цепью добровольцы двинулись к заводу, еле видневшемуся в тумане. Лишь когда до здания осталось каких-нибудь две сотни метров, тишину разорвал боевой клич: «Ура-а-а!» От грохота сотен копыт за-



гудела мерзлая земля, поднялась неистовая стрельба. Немцы были ошеломлены натиском смуглых азиатских конников. Выскакивали из окопов, пытались укрыться за стенами завода, но их всюду настигали разящие клинки. Прорвав первую линию обороны, добровольцы ворвались на территорию завода. Через полчаса все уже было кончено. Заводской двор усеян трупами, всюду валялись оружие, противогазы, окровавленные бинты, прочая солдатская рухлядь.

Некогда было любоваться плодами победы. Первый взвод под командованием старшего лейтенанта Тончута ринулся в город. Пришедшие в себя фашисты огрызались огнем. Конники спешили, чтобы атаковать вместе с пехотой.

Боевую задачу успешно выполнили все. Подобно грозовому ливню, прогрохотал бой за сахарный завод, и вот уже конники выкуривают спрятавшихся фашистов из подвалов и погребов. Победа! Полная победа! Город наш!

В короткие минуты отдыха солдаты перво-наперво развели костры — хоть немного просушить одежду, разбухшие сапоги и валенки. И опять — неизменные шутки, смех, кто-то даже бесхитростную песенку затянул. А тут еще двое конников тащат из какого-то дома огромный портрет.

— Ребята, кто-то из вас хотел самолично Гитлера казнить. Вот он, мы его изловили, — смеется Монгештей. Он бросил портрет фашистского фюрера на землю, выхватил клинок и стал полосовать полотно.

— Постой, постой! Надо же и мне выполнить наказ деда! — крикнул Чылбак. Вытащив из-за голенища острый охотничий ножик, он молниеносно вырезал две полоски из остатков портрета.

— Эй, ребята, на портянки не пойдет? У меня портянки прохудились! — заливаясь смехом, басил один из пулеметчиков.

— Да как же ты на ноги будешь наматывать эдакую погань?

Чылбак плюнул, сгреб остатки портрета и швырнул в огонь. Промасленный холст ярко вспыхнул, через минуту горсточка сизого пепла осталась от него.

— Ну вот, улетела душа Гитлера в подземное царство Эрлик-хана, поманит он скоро за собой и других своих вояк. Туда вам и дорога, господа захватчики, оршээ хайыракан! — подражая шаману, стал заклинать Чылбак.

— Ого! У нас, оказывается, и шаманы имеются! — подошел политрук Байыскылан. Чылбаку он приходился дядей по отцовской линии. Но родство родством, а шаманить в присутствии политрука...

— Мы только что казнили душу Гитлера, товарищ старший лейтенант, — отчеканил Чылбак, встав по стойке «смирно».

Байыскылан нежно посмотрел в карие глаза племянника. Высок, выделяется среди других, кажется даже неуклюжим...

— Как у тебя дела?— заботливо спросил офицер.

— Как у всех, так и у меня, товарищ старший лейтенант!— отрапортовал боец.

— А почему это у твоей шинсли одна пола короче другой?

— Переползали болото — намокла, вылез из него — заду-бела шинсель,— виновато и уже не по форме ответил племянник.— Пола мешала бежать. Вот я ее взял да и оттяпал ножиком.

Старший лейтенант покачал головой, положил крупную ладонь на плечо Чылбаку и посуровевшим голосом сказал:

— Сейчас, ребята, особенно тяжелое начнется сражение. Отдохнем еще немного — и в атаку. Другие эскадроны также начнут бой. Правитель оккупированной Украины Эрнх Кох недаром выбрал Ровно своей столицей: большого стратегического значения город! Немцы Ровно без трудных боев не отдадут. Бой за Ровно должен стать кульминационным пунктом Ровенско-Луцкой операции, ее вершиной, если проще сказать. Это вы должны знать, товарищи.

— Понятно, товарищ старший лейтенант! Значит, пришла пора следом за душой ихнего фюрера отправить и еще одну черную душу — как его, говорите, зовут? Эрлик-Кок, Чертов Волчина? Так вот, он еще и офицерских да солдатских душ не одну тысячу утянет за собой. Орщээ хайыракан!— Чылбак снова изобразил было шамана, но тут же разулся и стал с деловым видом сушить портянки.

— Ну, у нас шаман так шаман!— потешались бойцы.— Ему не винтовку с пулеметом, а бубен с колотушкой! Одним грохотом да заклинаниями из фашистов души вытряхнет!

Политрук смеялся вместе со всеми.

...Капитан Кечил-оол собрал командиров взводов. На командный пункт к ним пришел сам командир полка Ефим Абрамович Попов.

— Потери у нас, товарищи, ощутимые. Людей беречь надо. Враг хитер. За каждую улицу, за каждый дом придется сражаться. Местонахождение огневых точек фашистов надо узнать точно,— сказал он,— прежде чем начать разработку плана предстоящей атаки.

Прав был комполка. Из последних сил держался враг за каждый дом, словно за маленькую крепость, а железнодорожная станция была превращена в крепость настоящую. Тувинцам предстояло ее взять.

К станции двигались пешком, оставив лошадей у коноводов. Угадав передвижение советских солдат, фашисты открыли ураганный огонь. Навстречу добровольцам выползло несколько «тигров», за ними — бронетранспортеры с пехотой.

Но теперь уже не новички были перед фашистами — обстрелянные солдаты. Бешеный огонь вели из противотанковых орудий и пулеметов. Гулко били выстрелы, рассыпалась скорострельная ППШ. И вот — один танк взорвался, вспыхнул второй, загорелось сразу несколько бронетранспортеров... Валились наземь сраженные фашисты. Грохот боя нарастал с каждой минутой. Уже не слышно было отдельных выстрелов — стоял пистовый гул, больно кололо от него уши.

Несколько танков все же прорвались сквозь огненную завесу. За тяжелыми машинами, строча из автоматов, трусили пехотинцы. Чылбак с Монгештеем пристранвали ручной пулемет: укрепили сошки «дегтяря», придвинули поближе запасные диски с патронами и стали ждать. Рядом из противотанкового ружья бил Дажы-Серен. Он свирепо ругался, когда делал промах, и как-то по-детски радовался, когда танк, ужаленный маленькой, но злой пулей из его длинного ружья, останавливался. А вот, чуть в сторонке, припали к пулеметам Данзы-Белек и Мезил-оол.

Фашисты приблизились. Двухметровый ствол ружья старшины Дажы-Серена изрыгал огонь. Смертельным дуэтом подпевали ему два пулемета. Прорвавшиеся танки смрадно зачавали, загорелись. Из стороны в сторону стали метаться укрывавшиеся за ними фашисты, но пули находили их, валили на землю. Тувинцы двинулись в контратаку.

Да, прав был комполка. Враг бешено цеплялся за каждый дом. И каждый приходилось брать с боя. А впереди лежала железнодорожная станция. Основные огневые точки врага были уничтожены, но те, что в стационарных зданиях, оставались целы и вели свирепый огонь.

Чылбак со своим пулеметом устроился за углом полуразрушенного дома. Надо было выкурить фашистов из подвалов вокзала. Из окон здания били автоматы и пулеметы, Чылбак строчил по окнам. Враги заметили дерзкого пулеметчика и сосредоточили огонь на нем. Одна пуля опалила ухо, другая задела плечо. Чылбак отполз в развалины.

Вражеский пулемет остервенело бил по уцелевшей стене. Куски кирпича отскакивали от нее, летела известковая пыль. Высунувшись в пробоину, Чылбак повел единоборство с фашистским пулеметчиком. Тот был опытен. Казалось, еще немного, и не выдержал бы Чылбак. Но тут рядом заговорил второй пулемет — Монгештея. В ту же цель бил он.

— Ты ранен — отходи, сделай перевязку, — услышал Чылбак голос друга. И тотчас где-то над ухом пискнул детский голосок:

— Дяденька, ползите сюда!

Чылбак только сейчас заметил рядом с собой дверь, косо висевшую на одном шарнире, а рядом с дверью — мальчишку! Размышлять было некогда: подполз и скрылся за дверью.

— Сюда, сюда, дяденька, тут нас фашист не возьмет,— блестя глазами, лепетал мальчуган лет семи-восьми. Из-под мохнатой мужской шапки синие глаза смотрели восторженно.

— Ты один? Как здесь оказался?— обнял мальчонку солдат.

— Не-а, я не один. Тут дедушка мой!— похвалился мальчик и позвал старика:— Дедушка, иди сюда, не бойся, тут наши! Я сам видел, как вот этот солдат фашиста ухлопал!

Старый украинец вышел из развалин, крепко обнял смуглого солдата, не скрывая слез. Чылбак сперва растерялся. Потом, осмелев, спросил:

— Это ваш мальчишка? Ну и смелый же! Вокруг вон какой огонь, а он тут вертится...

— Внучок мой, Яшка. Сорванец настоящий! Мать у него, невестка моя, эвакуировалась, а я здесь остался — куда мне, старому, от родного очага идти? И он убежал с дороги да ко мне пришел. Так и живем вдвоем. Какой только муки не перетерпели! Знал же я, знал, что свои скоро придут. Как услышал капонаду — ну, все, думаю, крышка теперь фашистам. Поддайте, думаю, гадам, родненькие! А Яшка все на улицу лезет, своих встречать собрался. Далеко ли до беды? Подцешит мальчика шальная пуля, как же я тогда?..

Заметив кровь на плече Чылбака, старик засуетился. Снял с раненого шинель, гимнастерку и увидел на плече кровоточащую рану. Кость пуля не задела, видать, была на излете, но мышцы порвала. Яшка метнулся куда-то, принес чистую белую наволочку. Старик разорвал ее на ленты и умело, быстро перевязал рану, а сам все говорил и говорил, должно быть, наверстывая молчание долгих дней в оккупации:

— Знаешь, солдат, я как увидел, как вы смело на фашистов бросаетесь, чуть не обмер от радости. Ведь свои же! Яшка, пострелепок, кинулся было к вам, я его удержал, а он как заблажит: «Ур-ра! Свои, дедушка! Айда к ним!» Я думал, дом от Яшкиного крика развалится, ну, тут как раз и снаряд шарахнул... Знаешь, сколько живу — не крестился, а вас увидел — закрестился, что говорил — сам не помню. Кто вы, сынок, откуда — такие черные да смуглые?

— Мы — тувинцы, дедушка. Из Сибири, из-за высоких Саянских хребтов прибыли сюда. Там небольшое государство есть — Тувинская Народная Республика. Вот, мы оттуда. У меня дома дедушка,— такой же, как вы. Он перед самым отъездом мне вот что подарил,— и Чылбак вынул из кармана свой ножичек с роговой ручкой.

Ножичек так и приковал взгляд Яшки. Мальчишке хотелось поддержать его, но попросить не посмел.

Рана была перевязана. Чылбак поблагодарил старика за помощь и заторопился:

— Ну, дедушка, мне пора. Тут рядом мои товарищи фашистов лупят. Нельзя от них отставать. А вы, пожалуйста, сами никуда пока не выходите и внука не пускайте — пуля может зацепить.

— Из такой дали вы приехали наш город освобождать, — прослезился старик. — Да мы вас теперь вовек не забудем, сыночки родимые. Ты вот что запомни: это наш дом. Разрушили его враги. Но когда фашисты от нас уберутся, мы все построим заново, все возродим, краше прежнего станет наш город! После войны приезжай к нам обязательно, сынок. Самым дорогим гостем будешь.

Еще раз крепко обняв старика, Чылбак направился к двери. Яшка, как привязанный, шел за ним, глядел во все глаза. И Чылбак догадался. Сунув руку в карман, вытащил дедушкин подарок:

— На, возьми, на память. Мой дедушка простит меня. Был я такой же, как вот ты сейчас, вырезал себе и братишке этим ножичком мургу из молодых веток вербы. Мургу, если хорошо вырезать, настоящему лимби не уступит! Играем мы, бывало, на мургу, а козлята и ягнята вокруг нас резвятся, скачут — ну, словно в чехарду! На мургу что хочешь, то и сыграешь...

— А что такое мургу, дяденька?

— А, забыл объяснить. Дудочка такая, свирелька. У вас тут тоже растут вербы, совсем как наши, я видел. Вот нальется весной верба соком, почки появятся — тут-то и можно из нее делать свирели. Было бы время, я бы сам тебе сделал такую дудочку. А теперь, брат, прощай. Воевать надо.

Яшка проводил Чылбака до своей покалеченной, на одном шарнире двери. Доброволец поправил шапку и рывком бросился снова туда, где грохотал огонь.

— Дедушка, мы не спросили даже, как его зовут! — с досадой сказал мальчонка.

— И правда, внучек. И я, старый пень, забыл. Из ума, что ли, выжил? А ведь говорили — прямо как с родным! Из Тувы он, одно запомнил. Тувинец я, говорит, и все. Запомнит он наш дом, как ты думаешь, Яшка? Я-то его не забуду. Никогда. В такие минуты — кругом огонь, смерть, а он... о свирели говорит, о песнях, о вербах... Светлая, видать, душа у солдата.

## **Расстрелянная улыбка**

Жестокими были бои за Ровно. Немало тувинских добровольцев сложили головы за истерзанную Украину. Были среди павших и сыны стремительного Хемчика, земляки Чылбака. И странно: сам видел смерть друзей, а все не укладывалось в голове, что не встанут они уже больше в строй рядом с ним, домой не вернуться... Не побоялись эти парни опасно-

сти, самое дорогое — жизнь отдали за счастье народное, как настоящие богатыри. Скорбь и гордость наполняли сердце Чылбака. Молодой доброволец поклялся: если только он сам останется жив и вернется к себе на Хемчик, расскажет людям о смелости и отваге земляков. «Пусть я не поэт и не художник — все равно, книгу ли, картину ли написать обязан! Могу и песню о наших героях сложить. Весь народ должен о них знать!» — так решил он.

Пулеметный взвод закрепился в небольшой рощице. Вербы, одни вербы кругом! И уже готовы выпустить свои пушистые барашки... Как не вспомнить о родной Туве, о вербах над Хемчиком! Анай-хаак, ива-козочка, — ласково называют тувинцы вербу в пору цветения. Идут, бывало, Чылбак с отцом по берегу Хемчика, и неторопливо говорит отец сыну: «Смотри, сынок, красота какая! Вербы улыбаются. Какие они красивые, нежные! Это — улыбка весны». Как хорошо сказано — улыбка весны! И даже здесь, под огнем, вербы цветут — значит, улыбаются! Вспоминается Чылбаку детство. Он ласково гладит стволики верб и почему-то шепотом перечисляет: «Деражно, Ровно, Хрущевца, Покровское, Панталая, Сурмичи... Какое интересное название села! Убрать «мичи» — «сур» останется, а может, «суур» — по-тувински деревня...»

— Что ты там подсчитываешь, Чылбак? — спрашивает Монгештей.

— Названия освобожденных нами населенных пунктов запоминаю, — отвечает Чылбак. — Надо же будет потом дедушке рассказать. Когда домой вернемся.

— Далеко заглядываешь, — не то согласился, не то осудил друга за чрезмерный и, возможно, неуместный оптимизм Монгештей. — Меня вот, землячок, другое волнует: чего это немчура примолкла? Тишина на поле боя, говорят, хуже самой жестокой схватки. Что они задумывают?

— А что бы ни удумали, мы их пропустить не должны. Если они и пройдут, то только через наши трупы. И то едва ли, — решительно закончил разговор Мезил-оол.

И не успел он договорить, как фашисты открыли сокрушительный огонь. Они начали наступление. Заметив, что эскадрон отошел в ложбину, решили прижать наших солдат к ее дну — дальше-то на пути ни окопов, ни других ложбин не было, ровное место. Но не знали враги, что позади той ложбины — наши, тщательно замаскированные пулеметы и расчеты противотанковых ружей.

— Приготовиться! Огонь вести прицельно! Держаться, пока не подойдет нам помощь! — приказал командир взвода Бурзекей.

Фашисты приближались. От напряженного ожидания на лицах тувинцев-пулеметчиков выступил пот. Первыми откры-

ли огонь расчеты ПТР. Вражеские танки в нерешительности остановились, растерялись и автоматчики, когда по ним хлестнули пулеметные очереди. Встретив плотный огонь, враг начал медленно пятиться.

— Так вам, так, гады, прищемили вам хвост!— кричал Чылбак, не прекращая строчить из «дегтяря». Потом, не вытерпев, вскочил и погрозил отступающему противнику кулаком.

— Да, не ожидал враг от нас такого плотного огня,— заметил Бурзекей, смотря в бинокль.— Но теперь держитесь, друзья: свежие силы к фашистам подходят. Сейчас начнется смертельный бой. Пусть ни у кого из нас не дрогнет рука!

Командир взвода оглядел бойцов. Вот силач-богатырь Оюн Туметей, вот балагур и весельчак Монгештей, неразлучные друзья Кошкар-оол и Самбу, вот Балчий-оол, недавно принятый, уже здесь, на фронте, в ряды Тувинской народно-революционной партии; Монгуш Мезил-оол, высокий, худощавый, на щеках — ямочки, словно у кокетливой девушки... Монгуш Чылбак — самый рослый из всех, а душа нежная, поэтическая... И на всех лицах — решимость и бесстрашие. «Можешь положиться на нас, командир,— без слов говорили они,— ни шагу не отступим».

Не знал враг, что противостоят ему здесь всего горстка добровольцев из далекой Тувы. Большие свежие силы подтянул он на этот участок. Среди танков были тяжелые «тигры». И снова ураганный огонь, грохот, свист металла, густой дым. Но не дрогнула рука ни у одного из смуглых солдат, непрерывный огонь вели они. Вражеские снаряды одну за другой косили молодые вербы, гулко, словно со стоном, валялись деревья на землю, серебряный дождь цветочных почек осыпал бойцов. Срезанная осколком веточка упала прямо на пулемет Чылбака.

— Изверги! Они и вербы расстреливают. Улыбку нашей весны потушить хотите? Врете, гады, никому и никогда не убить весну!— крикнул Чылбак, бережно спрятал веточку в нагрудный карман гимнастерки и снова нажал на спуск. Застрочил пулемет. Заметно редели ряды фашистов под огнем добровольцев. И вдруг умолк пулемет Монгештея. Чылбак повернул голову — и увидел друга, поникшего, но не выпустившего пулемета из рук. Подполз, перевернул Монгештея на спину. Страшная рана в голове... Нет, никогда больше не расскажет Монгештей товарищам веселую историю.

— Монгештей!— отчаянно закричал он.— Да что же ты? Мы же должны дожидаться подмоги, сейчас подмога к нам придет!

Вытирая горячие слезы, Чылбак глянул в сторону врага — к линии обороны добровольцев подползали фашисты.

До своего пулемета не добежать, и он лег за пулемет погибшего друга. Когда опустели диски, взялся за гранаты:

— Вот вам, гады! За моих друзей, за улыбку весны! Вот, вот вам, нате, получайте!..

В минуту ярости боец забыл о всякой осторожности. Как тонкий ствол молодого дерева в бурю, раскачивалась при каждом броске его высокая фигура.

— Чылбак! Ложись!— крикнул Мезил-оол.

Но предупреждение опоздало. Наповал сразила парня злая пуля. Словно подрубленное молодое дерево, упал на землю мой старший брат.

...К вечеру деревня Сурмичи была освобождена от фашистов. Тувинский эскадрон продолжал идти вперед. Гул сражения доносился теперь со стороны города Дубно. Поредели ряды добровольцев, а схватиться им предстояло с большими ударными силами врага. Медленно, неотступно, теряя людей, кавалерийский полк шел вперед и крушил врага.

А бесстрашные пулеметчики после боя лежали там, где застала их гибель. С группой санитаров подошел к ним пожилой старшина. Решимость и бесстрашие застыли на молодых лицах. Старшина снял шапку. Легкий ветерок перебирал его седые волосы.

— Настоящие богатыри...— сказал он.— И всего-то их тут девятнадцать, и пулеметчиков, и бронбойщиков, а сколько фашистов перекрошили! Насмерть стояли, до последнего!

Вдруг взгляд старшины остановился на одном из неподвижно лежавших бойцов. Склонившись к нему, старый солдат закричал:

— Девушки! Быстро сюда! Вот этот должен быть жив!

...В полевой госпиталь привезли тяжелораненого бойца. Медленно приходил он в сознание, с трудом открыл глаза. Санитары начали осторожно снимать с него одежду. Веточка вербы, чуть привядшая, выпала из кармана гимнастерки. Раненый увидел, потянулся было к ней, но, не имея сил что-нибудь сказать, только глазами показал: дайте, мол. Поняла этот взгляд молоденькая санитарка, подала раненому веточку. Непослушными обессиленными пальцами взял он ветку, еле донес до губ. В глазах, усталых, уже, казалось, смирившихся со смертью, затеплилась нежность. Раненый оторвал от губ эту крохотную веточку, еще раз посмотрел на нее — и передал санитарке. Когда девичьи пальцы коснулись холодеющей руки юноши, он слабо улыбнулся санитарке. Ясной улыбкой ответила она этому смуглому парню.

Его унесли в операционную. Когда носилки скрылись за дверями, санитарка поднесла веточку вербы к лицу. Понюхала, стала гладить длинными тонкими пальцами. Весной, жизнью, солнечным сиянием пахла верба, и даже угадывался серебряный звон шаловливого ручья...



— Тетя Вера,— обернулась девушка к пожилой санитарке,— посмотри, какая красивая веточка! Весной пахнет, честное слово! Мне ее раненый подарил. Вон тот смуглый парень, его сейчас оперировать будут.

— Вижу, Анечка, и слышу — весной пахнет. Значит, скоро весна. Знаешь, девочка,— такая ветка любых цветов дорожке, даже самых красивых роз. И парень красивый, высокий. Может, это судьба твоя? Вот поправится он, познакомитесь...— засветилась улыбкой пожилая.

Аня вышла в коридор. Как долго идет операция! Кажется, никогда не кончится. Но вот из операционной вышла сестра. Немолодая, усталая.

— Ну, как он там?— с тревогой спросила Аня.

Операционная сестра внимательно посмотрела на девушку, заметила веточку вербы в ее руке...

— Что, знакомый?

— Нет, первый раз видела — перед операцией,— отвела глаза в сторону Аня.

— Пугать тебя не хочу, но надежды нет. В сознание не приходит. Видно, слишком велика потеря крови...

— А моя кровь не подойдет? Ведь первая группа...

— Теперь уже поздно.

И, не глядя девушке в глаза, сестра пошла дальше.

Аня прошла в комнатку, где жили санитарки, поставила веточку вербы в стакан с водой. Смотрела на нее и думала: «Я даже не знаю, как зовут... как звали этого парня. Откуда он. Из каких краев. Но он останется в моей памяти, как эта ветка — чуть привядшая, но живая! Он ведь жизнь свою отдал за нас, за все живое на земле, за эту зеленую вербу... За весну».



*Дандар-оол Сарыкай*

## **И ОН ПРОЛИЛ КРОВЬ**

*Повесть*

### **1. Иван Романович**

Было это давно, в начале лета сурового военного сорок третьего года. На окраине захолустного городка, возле низенького бревенчатого домика сидел худой, бледный однорукий инвалид-солдат. Тяжело, с хрипом дыша, говорил он мальчику, стоявшему тут же, рядом:

— Дела мои плохи, Вовка, хуже некуда. Здешний врач советует мне лечь на больничную койку. Да и сам чувствую, что дальше идти уже нет сил. Эх, жаль, видно, судьба...

При последних словах инвалид с грустью покачал головой, достал из кармана галифе кисет и молча подал мальчику, а тот, привычными движениями пальцев на диво ловко сворачивая махорочную самокрутку, по-детски наивно утешал старшего:

— Дядя Ваня, может, твоя хворь невсамделишная, а так, пустяк? И одышка, может, к вечеру пройдет?

— Какой там пустяк! И одышка черта с два пройдет. Захворал я всерьез, Вовка, выдохся, сердце барахлит. Да это и немудрено, ведь из моей груди вынули семь осколков, понимаешь, семь! Подумай сам, как же не будет барахлить сердце, если оно задето? И вот теперь снова придется глотать таблетки, будь они неладны...

— А мне что делать? Куда я денусь?— еле слышным голосом спросил мальчик.

— А ты мужчина или кто? Чего вдруг раскис? А ну-ка, улыбнись, еще раз, ну?— подбодрил солдат своего приунывшего было спутника и продолжал:— Мы с тобой, Вовка, почти половину матушки-России шагами отмерили, далеко позади оставили войну. Теперь до моего дома, считай, рукой подать. Осталось двадцать пять километров, всего-навсего двадцать пять, соображаешь? Так вот, ты один, без меня, неужели не пройдешь эти несколько километров, а, Вовка?

Мальчик оказался не из трусливых, в трудный момент достойно и мужественно держался перед старшим товарищем. Он весь напрягся, словно сжатая стальная пружина, его детский, неокрепший голос звучал уверенно и твердо:

— Пройду я один, дядя Ваня, пройду! Только расскажи мне толком, как добираться до твоего дома.

— Вот это уже мужской разговор, сразу видно, что у тебя настоящая фронтовая закалка,— похвалил солдат-инвалид и, показывая коротко обрубленной култышкой правой руки, стал объяснять:

— Значится, во-он, видишь узкую, изогнутую полосу зеленого леса? Это пойма речки Шагонарчик. А дорога, она здесь одна, ее легко найдешь, в аккурат приведет тебя к этой речке, и, стало быть, пойдешь вдоль русла этого самого Шагонарчика. Затем, в местечке Хам-Дыт переправишься на другой берег...

— Подожди, дядя Ваня, говори яснее и реже, не успеваю запоминать. А речка та самая, как ее, Шонарчик, что ли, глубокая?— деловито уточнял мальчик.

— Не шибко глубокая она. И не Шонарчик, а Шагонарчик,— поправил мальчика солдат.— Но ты гляди, вброд не сунься, течение там быстрое, на ногах, пожалуй, не удержишься, упадешь в воду. Ищи поблизости пешеходный мост. Понял?

— Понять-то понял, чего тут непонятного, дядя Ваня?

А если не найду моста, тогда что? Наверное, переплыву, да? Я ведь хорошо плаваю.

— Не знаю, Вовка, и знать не хочу, хорошо ты плаваешь или плохо, но делай то, что я сказал. Переправляться только по мосту — и никаких разговоров!..

— Есть переправляться по мосту!.. А там, после переправы, уже легко доберусь, да, дядя Ваня?

— Ишь какой скорый хлопец! Легко, говорит, доберусь, хе-хе-хе... В аккурат оттедова и начинается лес, где сроду Макар телят не пас. Признаться, боюсь я, как бы ты не заблудился. Хотя... В это время на лесных полянах еще должны стоять юрты, перекочевывать на чайлаг еще рановато. Ты, Вовка, если кого увидишь, не чурайся, смело подходи и спрашивай дорогу. Тувинцы — очень добрый, общительный и гостеприимный народ, тебя никто не обидит...

Инвалид говорил с трудом, то и дело задыхаясь, с жадностью хватая ртом воздух. А мальчик, пока солдат вытирал грязным носовым платком посиневшие губы, поинтересовался:

— Дядя Ваня, они, эти тувины, по-нашему все говорят?

— Не тувины, а тувинцы,— опять поправил мальчика солдат-инвалид.— По-русски не все говорят, но ты спроси по-ихнему: «Аргузун орук кайда?»— где, значит, дорога на Аргузун?— и все. Однако, Вовка, ты же забудешь эти слова, верно?

— Да ну-у, дядя Ваня, с чего ты взял, что я забывчивый?— запротестовал мальчик.— У меня адская память.

— Так вот, ежели нигде не удержишься, думаю, сегодня к вечеру будешь у меня дома, у Полины Семеновны, у моей жены...

Через несколько минут мальчик ушел, а худой, бледный однорукий человек, оставшись один, еще долго сидел на завалинке бревенчатого, покосившегося домика. Широкой, шершавой, потрескавшейся ладонью уцелевшей руки осторожно растирая больное, ноющее сердце, он размышлял о том, что же все-таки произошло, как он, мужчина цветущих лет, превратился в жалкого калеку...

Уроженец Минусинского уезда, Иван Романович Козлов в 1933 году решением правительства СССР был направлен в Тувинскую Народную Республику в качестве, как написано было в официальном документе, «специалиста по наладке, эксплуатации и ремонту сельскохозяйственных машин». А когда он прибыл в Туву, назначили его главным механиком госхоза, только что созданного в местечке Аргузун Шагонарского сумона Улуг-Хемского хошуна. С тех пор прошло десять лет, да еще каких лет!..

Медленно, с наслаждением докуривая махорочную самокрутку, Иван Козлов вспоминал начало своей трудовой дея-

тельности на тувинской земле. А начал он с того, что собрал восемь молодых парней из местных аратов и обучал их профессии тракториста-механизатора. Дело это было новое и чрезвычайно сложное, сопряженное с коренной ломкой веками устоявшихся традиций в укладе жизни и психологии кочевников-скотоводов. Первые ученики Ивана испуганно шарахались по сторонам, услышав шум тракторного мотора. Запах керосина вызывал у них рвоту. И тем удивительнее, что эти же парни, не умевшие ни читать, ни писать, всего через полгода самостоятельно выводили трактора «Фордзоны», уверенно поднимали целину острыми стальными лемехами трехрядных плугов, а не деревянными сохами, как было раньше. Такому стремительному успеху своих подопечных нарадоваться не мог Иван Козлов, сам, между прочим, малограмотный русский крестьянин. Да, это было прекрасное время, что там говорить...

Впрочем, радость радостью, а в те годы Ивану приходилось туго, ох, как туго! Он пахал и сеял, чинил трактора, рубил лес, строил жилые дома, гаражи, амбары, дороги и мосты. Все делал сам, иначе нельзя было, потому что начинал он на голом месте, где до этого хозяйничали разве только степные грызуны-суслики. Бережно и заботливо пестуя своих первых учеников, настойчиво прививая им любовь и уважение к технике, Иван Козлов не щадил самого себя. Ночей не досыпал, от утренней зари до вечерних сумерек на ногах, не знал ни отдыха, ни покоя. Причем старался он не корысти ради, не за деньги, боже упаси, нет и нет! Он честно и добросовестно выполнял свою благородную интернациональную миссию — оказывал помощь маленькому, трудолюбивому, многострадальному в прошлом народу, только что обретшему свободу и независимость. Изматывая, изнуряя себя в работе, Иван Романович ни на минуту не забывал о том, что здесь, за границей СССР, он является представителем великого народа великой страны.

Прошел год, второй, третий... Да их и не считал Иван Козлов, не до этого было ему тогда, постоянно, изо дня в день, как говорится, по горло занятому делами. Замечательные, на редкость удачные были эти годы...

Тракторная бригада Аргузунского госхоза пять лет подряд собирала небывалые доселе в этих местах урожаи пшеницы, проса, ячменя и овса. Амбары ломились от зерна, люди ликовали, пели частушки о русском Иване-хлебопашце, который научил тувинских аратов оседлать железных коней и распахать первые борозды к новой, счастливой жизни. А сам русский Иван-хлебопашец, человек медлительный, флегматичный, сугубо деловой, крайне сдержанный в эмоциях, тоже радовался жизни. Радовался он тому, что на его глазах меняется, обновляется лик древней за-

саянской земли. Его радовало веселое, революцией вдохновленное настроение народа, среди этого народа он нашел много друзей, чему, естественно, тоже радовался.

Затем, к сожалению, начались неудачи, как будто жизненную стезю-дорожку Ивана Козлова перебежала пресловутая черная кошка. Наступила полоса невезения...

Летом тридцать девятого года весь посев госхоза был полностью уничтожен страшным градом. Весной сорокового года в Шагонарском сумоне произошла массовая гибель скота от бескормицы, так называемый джугт. В конце мая сорок первого года Иван однажды поздно вечером наблюдал странное явление природы. Совершенно неожиданно в ночном небе появились светящиеся предметы круглой формы и проносились над лесочком с востока на запад, словно огненная стая турпанов. «Нехорошо, Иван, очень нехорошо, опять будет беда!»— тихо, загадочным полусшепотом сказал тогда пожилой тувинец, случайно оказавшийся в тот момент рядом с Козловым. И действительно, через месяц грянула война...

Первое боевое крещение Ивана Козлова состоялось под Москвой, в ноябре сорок первого года. Гит. еровцы, наглые, сытые и пьяные, озверевшие от кажущейся близости победы, нахально, напролом лезли в столицу, а красноармейцы-сибиряки, в том числе и Иван, выбегали наперерез немецким танкам, кидали в них гранаты, бутылки с горючей жидкостью. Многие падали в глубокий снег, насмерть сраженные вражескими пулями. Но Иван уцелел в том крошечном аду. И сейчас, сидя на завалинке маленького домика, мучительно страдая одышкой, удивлялся, как же он все-таки уцелел. Ведь тогда, в той кошмарной суматохе, он совершенно не думал о себе, о своей собственной жизни, сгоряча начисто забывал о чувстве страха, в полный рост бросался в рукопашные атаки, в упор стрелял из винтовки в противника, колот штыком, наотмашь, что есть силы, ударял прикладом по башкам, по спинам, по загривкам, по чему попало, а сам каким-то чудом оставался жив и невредим. «Наверное, я на мизерные доли секунды опережал тех, кто хотел укокошить, убить меня»,— размышлял Иван Романович, лениво отмахиваясь от назойливого комарика, норотившего укусить его в нос.

Да, в тот момент, когда ввели в бой сибиряков, обстановка на фронте была накалена до высшего предела. Под ногами содрогалась земля, кругом свистели пули, рвались снаряды и мины, с неба беспрерывно падали бомбы. Так не могло продолжаться долго, что-то должно было случиться. И случилось! Немцы не выдержали, попытались назад, удрали с позором, оставляя на полях жесточайших сражений десятки тысяч трупов, исковерканную, искореженную, оп-

давленную огнем технику. А на участке фронта, где воевали сибиряки, наконец-то, кажется, установилось затишье. Но сколько оно длилось? Неделью? Месяц? И вообще было ли затишье?.. Сейчас точно и не помнит Иван Козлов, во всяком случае, он сам не ощущал передышки, за всю зиму ни на один день не покидал передовую, ни на час не расставался со своей винтовкой. А в середине марта сорок второго года его первый раз зацепила пуля. Пришлось лечь в госпиталь, правда, ненадолго, а после выздоровления попал в другую часть. Как раз в составе этой части он и отступал летом сорок второго года. Ох, тяжелое, неимоверно трудное было это отступление! О нем Ивану Романовичу почему-то совсем не хотелось вспоминать...

Затем был Сталинград. «Вот тут-то мы ему, фрицу окаянному, дали прикурить! Аж запищал супостат, завыл, как волк в капкане», — почти вслух проговорил Козлов, ни с того ни с сего приходя в волнение, дрожащей рукой зашарил в кармане, доставая кисет. Впрочем, волноваться ему было от чего. Ведь он целых пять месяцев находился в пылающем городе. И не просто находился, а воевал, причем воевал бесстрашно, самоотверженно, как говорится, на всю катушку, уничтожал врага, терял своих друзей-товарищей, постоянно, ежеминутно подвергал себя смертельной опасности. Вторично был ранен. Наспех забинтовав простреленную руку, он оставался в строю, по-прежнему дрался с ненавистным врагом, дрался упорно, напористо, зло, как сам черт...

Шел к концу второй год войны. Вокруг Сталинграда наглухо сомкнулось кольцо окружения. Немец уже сидел в мешке, но все еще отчаянно сопротивлялся, огрызался с тупым фанатизмом обреченного, как затравленный зверь. Именно в такое время, в канун нового года, когда гитлеровцы окончательно потеряли всякую надежду на спасение, Ивану Козлову изменило счастье. Его по-настоящему садуноло...

Итак, третье по счету, самое роковое по дальнейшим последствиям ранение Ивана Романовича. А произошло оно вот как. Шли два красноармейца. Один впереди, второй чуть позади, отставая от ведущего метров на пятнадцать. Вдруг раздался оглушительный взрыв чудовищной силы. И все!..

Что стало с тем, кто шел впереди и нечаянно подорвался на mine большой мощности, конечно, не трудно догадаться. А второго, жутко изуродованного осколками, истекающего кровью, вовремя подобрали и быстро доставили в медсанчасть. Это и был Иван Романович Козлов, один из героических защитников Сталинграда — несокрушимой твердыни на великой русской реке Волге...

Бойца оперировал пожилой, усталый и сердитый хирург

с погонами полковника медицинской службы. Надо полагать, строг и крут был характером полковник. Однако свое дело знал. Засучив рукава, долгих три часа копался он в настежь раскрытой груди умирающего бойца, безжалостно вырезал какие-то куски человеческого тела, бросал их в таз, что-то передвигал с места, подправлял, прочищал и промывал, затем зашивал, изумительно легко и виртуозно орудуя специальной иглой. И, наконец, глубоко и свободно вздохнув, коротко сказал: «Все, будет жить!..»

Живуч оказался сибиряк! На восьмой день после операции Иван Козлов пришел в сознание.

Как только Иван Козлов встал на ноги, его начали перебрасывать из одного госпиталя в другой. Был он в Александровом Гае, Бугуруслане, Абдулине, Аксакове и, наконец, добрался до Уфы. К тому времени исхудал сибиряк, зачах, словно дерево, подпиленное на корню, но ни на минуту не терял надежды на возвращение в строй. Повязка с груди уже снята, но болела, сохла правая, дважды раненная рука. «Ерунда!— утешал он себя.— Чепуха, самое главное — чтобы сердце билось, стучало, на все остальное — плевать!..»

Ох, зря бодрился бывалый солдат, ни к чему это было, руку-то ему все равно ампутировали, отсекли к чертовой бабушке.

Лишившись последней возможности вернуться на фронт, Иван Козлов в душе сильно злился на врачей, мысленно поносил их всякими нехорошими словами. «Не доктора они, а олухи царя небесного!— нервничал он.— Им бы только резать да кромсать, нисколько не думать о том, что русскому Ивану еще нужно воевать да воевать с фашистской немчурой, ему нужно дойти до самого Берлина». В те трудные дни Иван Козлов много раз вспоминал о старом тувинце Чондане, который в своем сумоне считался признанным знатоком восточной медицины. «Ей-богу, дед Чондан лечил бы меня чудодейственным отваром оргадай-травы, тувинского женьшеня, медвежьей желчью, каменной смолой, добытой на недоступных скалах Танну-Ола, и, как знать, может, моя рука-кормилица была бы цела!»— думал он иногда, с каким-то таинственным, внутренним страхом и отвращением рассматривая пустой рукав своей гимнастерки.

Однажды в Чимше, в пригороде Уфы, к Ивану подошел маленький, белобрысый, остроносый мальчик и шустро, звонкой скороговоркой сказал:

— Дяденька, а дяденька, меня к тебе послала старшая медсестра. Давай, дяденька, познакомимся, а?

— Познакомиться, конечно, можно, а зачем она тебя ко мне послала?— спрашивал Козлов, шепелявя, зубами разрывая новую пачку дешевых папирос.

— Помогать буду тебе, дяденька. Дай-ка я зажгу спичку, а ты прикури,— деловито посоветовал мальчик.

— То есть, как это будешь помогать?— не понимал Козлов.

— Очень просто, дяденька, я же многим больным, у кого нет ноги или руки, помогаю. И за это меня здесь кормят, хорошо кормят, дяденька,— с самодовольной улыбкой сказал мальчик.

Так познакомились два друга: инвалид войны Иван Козлов и одиннадцатилетний подросток, беспризорник и, по всей вероятности, уже круглый сирота Володя Чернов. Встретились и больше не разлучались. Ходили, ели, спали вместе, как отец и сын. И в Туву прибыли вместе, преодолев длинный, многодневный, утомительный путь.

...Ослепительно яркое, высокое, червонно-золотистое летнее солнце невыносимо пекло. Засиделся Иван Романович на завалинке. Он уже собрался было идти в больницу, но к домику подъехал на коне стройный, черноволосый, красивый тувинец средних лет. Иван Козлов сразу узнал его, бывшего активиста ревсомола Монгуша Ламажапа. Друзья искренне обрадовались встрече, обменялись бурными приветствиями: «Экии, Иван, сколько лет, сколько зим!», «Экэ-э, Монгуш, мира тебе и благополучия!..» Даже обнялись, поцеловались.

Вежливо усаживая рядом с собой приятеля, с поклоном передавая ему свой кисет с махоркой, Иван первым делом поинтересовался насчет того, как, мол, живется-можетесь Полине Семеновне, что слышно о ней, давно ли ее видел Ламажап.

— Да как тебе сказать, Иван, видишь ли, твоя жена Полина, в общем, того...— замялся с ответом Ламажап, чем-то смущенный.

Иван Козлов сразу понял, в чем дело, побледнел лицом, закашлялся, поперхнувшись махорочным дымом.

— С кем она?— спросил глухим, хриплым голосом.

— Да кто знает, Иван, как далеко зашли у них дела? Весной они с Шир-оолом пахали зябь на Булак-Харагане, ты же знаешь это место, там же и жили вдвоем. А теперь, после пахоты, люди говорят, Шир-оол будто бы совсем переехал к ней в дом. Может быть, это просто сплетни, Иван, пустая болтовня? Одним словом, дело темное, и нечего тебе расстраиваться из-за этого,— успокаивал друга Ламажап.

Разговор на этом фактически закончился, по существу, так и не начавшись. Иван Козлов как-то неестественно резко поднялся с места, выпрямился и, положив свою единственную руку на плечо Ламажапа, на чистом тувинском языке сказал:



— Слушай, Монгуш, я привел сюда, в Туву, мальчика. Честно говоря, хочу усыновить его. Так вот, прошу тебя, как брата родного, будь другом, приюти малыша, пожалуйста, временно возьми его к себе в юрту. А когда поправлюсь, выпишусь из больницы, заберу его. Ну что, таныш, почему молчишь?..

Через пять минут друзья расстались, договорившись обо всем, но и тот и другой были крайне недовольны собой. «Эх, балбес же я, чисто пень-пеньком!— стучал лбом по стене Козлов.— Своим глупым вопросом хорошего человека в неудобное положение поставил, да и самому себе настроение испортил. Кроме своей бабы, не о ком и не о чем спросить было мне, что ли, дураку и остолопу?»— ругал он себя. «Идиот я, круглый идиот!— раскаивался Ламажап.— Товарищ с фронта инвалидом возвратился, ему и так белый свет не мил, а я сдуру черт-те что ляпнул! Эх, за это бить меня кнутом мало! И когда же перестану языком молоть? Да уж ладно, теперь поздно казниться. Что бы ни случилось, я обязательно помирю Ивана с Полиной, этим и искуплю свою вину!»

## 2. Володя Чернов

Тем временем Володя Чернов все дальше и дальше уходил в сторону Аргузуна. Шел он легко, быстро, но осторожно, чутко прислушиваясь к каждому шороху. Место было незнакомое и безлюдное. Кругом какая-то непривычная, угнетающая душу тишина, словно перед решающим боем. Но она, эта тишина, иногда нарушалась. Однажды чуть ли не из-под ног мальчика выпорхнула серая, невзрачная птичка. Володя от неожиданности вскрикнул тоненьким, пронзительным голосочком. «Тьфу, проклятая! Обыкновенная чечетка, а туда же, испугать меня хотела, зайкой сделать! Не выйдет! Не из пугливых я! Не то что всяких там пташек, даже змей не боюсь! Попробуй, попадись мне гадюка — раздавлю!»— храбрился мальчик, худыми кулачками грозя далеко улетевшей птичке. Однако в самом деле увидев змею на обочине дороги, не осмелился подойти к ней и расправиться, а решил подобру-поздорову ретироваться. «А ну ее к лешему, пушай себе лежит и греется на солнцепеке! Гадюка есть гадюка, начнешь тревожить, укусит еще»,— думал он, прибавляя шаг. Вскоре ему пришлось испытать еще одно волнение. Получилось так, что мальчик чрезмерно отвлекся своими думами, на время потерял бдительность. Опомнился он только, когда совсем близко услышал топот конских ног, но все же успел юркнуть в кусты. Мимо него проехал всадник. «Ох, какой конь, какой конь!— восхищался мальчик.— Рыжевато-гнедой, гладкошерстный, тонконогий, мускулис-

тый, а уши-то, уши как торчат! Нет, не сивый мерин, а настоящий, чистопородный иноходец! И дяденька на коне тоже хорош! Едет один, а улыбается, значит, добрый. Эх, зря струсил!»

Да, мальчик прав, струсил он зря. Дело в том, что Володя, затаившись в кустах, мимо пропустил Монгуша Ламажапа, который догонял и искал его же самого. Вот какая досада вышла, а жаль...

Дневная жара усилилась. Дышать стало гораздо труднее. Горячий, раскаленный воздух чувствительно обжигал горло. Мальчик сильно потел, то и дело вытирал лицо старой, выцветшей, выдавшей виды солдатской циолткой. Но шел упрямо, невзирая ни на что. Чего-чего, а ходить пешком он умел. Примерно с середины прошлого года ему приходилось постоянно скитаться по прифронтовым тылам, по Донским и Кубанским степям, по северной Калмыкии, Поволжью. Такова была у него жизнь, подвижная и непоседливая.

Вплотную приблизившись к зеленому лесу, Володя услышал голоса людей, насторожился, присел на корточки за деревом. Сперва он хотел было потихоньку обойти стороной подозрительное место, но передумал. Прирожденная любознательность заставила его пойти туда, откуда слышались голоса. И он пошел, бесшумно, по-кошачьи крадучись, озираясь, а последние метры преодолел ползком, по-пластунски. Устроился он над самым яром, в густых зарослях багульника. С этой позиции ему отлично, как на ладони, видно было все, что делалось внизу, на речке. А там рыбачили дети: два мальчика и девочка с косичками, в которые были вплетены белые луговые ромашки. Володя, недолго думая, им всем присвоил прозвища. Старшего из мальчиков окрестил вожакom, младшего — бритоголовым пацаном. «Девочка с косичками пусть будет дамочкой-смугляночкой», — решил он. А сам почти реально возомнил себя бесстрашным разведчиком, удачно проникшим в важнейший стратегический объект для того, чтобы срочно добыть секретные сведения, необходимые командующему фронтом, толстому, вспылчивому, усатому и седовласому генерал-полковнику. Теперь оставалось только тщательно наблюдать и запоминать. Писать что-либо, если бы даже имелись под рукой карандаш и бумага, ни в коем случае нельзя. Разведчику это не положено...

Итак, наблюдение началось. Прежде всего Володе бросилось в глаза, что снасти у ребят плохие, самодельные, да и сами рыбаки никудышные, даже не умеют как следует закидывать удочки. «Ой, ужас, дикий ужас! Кто же так наживляет крючок? Червяка с головы надо протыкать, а не с хвоста! Твоя наживка выпадет, как только коснется воды, дурочка!» — внутренне негодовал таинственный наблюдатель, следя за действиями девочки с косичками.

Судя по всему, клев был отменный, но удача сопутствовала в основном старшему мальчику. К нему и устремил свои взоры Володя, считая его наиболее вероятным соперником в случае провала и последующей потасовки. «Дамочка-смугляночка не в счет. Она если на что-то способна, так это играть в скакалочку. И бритоголовый пацан, которому еще на горшке сидеть, мне не опасен»,— думал он, с пристрастием изучая старшего мальчика. «Вожак достоин уважения! Ростом не высок, зато коренаст, крепок телосложением и упитаннее меня. А драчлив ли он? Не похоже, ведь давеча бритоголовый пацан выронил в воду уже пойманную рыбу, а вожак простил ему, разине, вместо того, чтобы отшлёпать по соплям! Нет, мне кажется, мальчик смирный, сладить с ним можно»,— сделал вывод Володя, продолжая наблюдения. От его зорких глаз ничего не ускользало. «Крючки у них без жабер, потому и часто срываются рыбы. Лески из конского хвоста тонковаты, щука мигом откусит, это как пить дать! И грузила мелкие, свинца им жалко, что ли?..»

Как раз в это время у девочки клюнула рыба, причем мощно, с сильными рывками. Удильце вырывалось из рук, выгибалось дугой и разгибалось. Леска дергалась, чертила по воде зигзаги, временами натягивалась, как тугая струна. А сама девочка растерялась, не знала что делать. Вот тут-то не выдержали нервы у таинственного наблюдателя, с криком «подсека-ай!» Володя в мгновение ока прыгнул с яра и оказался у кромки воды.

Внезапное появление незнакомца произвело на маленьких рыбаков ошеломляющее впечатление. Бритоголовый карапузик на четвереньках пустился наутек. Девочка с косичками инстинктивно прикрыла голову руками, как будто защищаясь от удара. Старший мальчик отшатнулся назад, ментально приготовился к отражению предполагаемого нападения. Все молчали, как замороженные, ожидая развязки этой нелепой ситуации.

Ловко воспользовавшись замешательством ребят, Володя вытащил из холщового заплечного мешочка жестяную коробочку, со всеми поздоровался за руку, одновременно раздавая им конфетки. Хитрость удалась на славу. Ребята-тувинята пришли в неописуемый восторг от неслыханной щедрости незнакомого мальчика, а бритоголовый пацан даже замурлыкал от удовольствия, со смаком обсасывая сладкий леденец.

— Ну что, малый, нравится тебе? На, еще ешь, это моя фронтовая награда за геройство,— хвастался Володя, ничуть не краснея. Он вообще не упускал случая, чтобы похвастаться. Эту нехорошую, прямо скажем, дурную привычку мальчик приобрел недавно, будучи уже беспризорником, бродяжничая в пестрой компании отчаянных, бездомных сорванцов, как и он сам. Война всему научит, что там говорить, на то она и война...

— И вы угощайтесь! Ради бога, не стесняйтесь, прошу вас!— по-рыцарски галантно предлагал Володя свою жестяную коробочку маленькой, симпатичной «дамочке-смугляночке» с косичками. И та, отвечая взаимностью, кончиками двух пальцев взяла конфетку и положила себе в рот.

Таким образом, обстоятельства складывались как нельзя лучше, причем явно в пользу Володи. Кроме всего прочего, выяснилось, что девочка с косичками немного умеет говорить по-русски, а понимает вовсе прилично.

— Ты отсюда сюда пришел?— спросила она, смешно коверкая слова.

— Из Москвы!— гордо выпалил Володя.— На самолете прилетел, на военном истребителе. А спустился на парашюте. Вы знаете, какая это прелесть! Не скрою, страшновато, бывает, сердце в пятки уходит. Смотреть вниз нельзя, закружится голова, затошнит, а все остальное очень просто, проще пареной репы!— совсем уж разошелся он, замысловатыми движениями рук и ног необычайно темпераментно имитируя свободное парение человека в воздухе.

Девочка бойко переводила, а мальчики слушали, недоверчиво перемигиваясь друг с другом. И неспроста. Парашютист из Москвы, а обут в старые, стоптанные ботинки. Рубашка и брюки грязные, неглаженные, да и пилотка, хотя и форменная, армейская, нуждается в чистке. В таком одеянии трудно сойти за парашютиста, тем более прилестившего прямо из Москвы. Переборщил, конечно, Володя, перестарался, сам это понял и энергично начал искать выход из щекотливого положения. Каждая секунда была дорога, так как он находился на грани позорного разоблачения. Ему нужно было действовать, причем действовать активно, наступательно, ни в коем случае не упуская инициативу из своих рук. Здесь следует отметить, что Володя, целыми месяцами околачиваясь на тыловых железнодорожных вокзалах, куда во время войны стекались огромные массы людей, прекрасно научился, с кем и как разговаривать. И эти знания сейчас ему пришлось очень кстати.

— Эй, малыш, как тебя звать?.. Орлан, говоришь, да? Ты же неправильно насаживаешь червяка на крючок. И удилище неправильно держишь, за клевом не следишь,— бесцеремонно раскритиковал он бритоголового пацана, отчего тот чуть не заплакал, часто-часто заморгал глазами, засопел.

А к «дамочке-смугляночке» применил совершенно иной подход:

— Вот вам еще конфеточка, пожалуйста, не отказывайтесь! Меня зовут Володя. Разрешите узнать ваше имя?..

И девочка Анчымаа сразу же заулыбалась, зарделась, одним словом, была покорена. Теперь оставалось сделать самый ответственный шаг — во что бы то ни стало добиться располо-

жения жожака. Володя смекнул, что время для этого созрело, смело подошел к старшему мальчику и без обиняков сказал:

— Молодец! Хорошо рыбачишь! Кажется, даже лучше меня! Давай дружить! А звать-то как?..

Жожака звали Сержикеем. Он оказался очень смиренным, послушным, не по годам рассудительным мальчиком. Не прошло и полчаса как познакомились, а общительный и шепутной Володя Чернов уже весело подшучивал над спокойным, медлительным подростком Сержикеем.

— Сережа!— кричал он, для удобства переименовав своего нового друга на русский лад.— Показать тебе, Серьга, как бросал Степан Разин одну тетеньку в воду? Смотри, вот как: б-бах!— приподняв засохшую корягу над головой, с маху кидал в речку.

Володя озорничал от хорошего настроения. После бесчисленного множества лишений и невзгод, выпавших на его долю, он вдруг почувствовал какую-то необъяснимую легкость на душе. Ему казалось идилично все, что окружало его сейчас: лес, зеленая трава, аромат цветов, щебетание птиц и ребята, такие простые, наивные и бесхитростные. Да, Володя радовался, потому и дурачился...

— Орланчик, дай-ка мне свою удочку, а сам иди бабочек лови, больше ты ни на что не годен,— говорил он младшему.

Как ни старался Володя, хорошим рыбаком себя не показал. «Что за чертовщина!— удивлялся он.— «Дамочка-смугляночка» и та сноровистее меня рыбачит, а у меня почему не получается? В чем дело?..»

В детстве Володя увлекался ужением ельцов, окуней и пескарей. И добивался неплохих успехов. Но в тех краях, где он родился, речки были тихие, мутноводные, с илистым дном. И повадки рыб, видимо, отличались от здешних.

— Поплавков у вас нет, на такой быстрине сразу и не поймешь, клюет рыба или нет,— жаловался Володя скорее для оправдания своих неудач.

— А ты раньше рыбачил, Володя?— спрашивала девочка, добродушно и по-женски тактично посмеиваясь.

— А ты как думала? Рыбачил я, Анечка, да еще как рыбачил!— отвечал Володя, переименовав и девочку на свой лад.— Если хочешь знать, осетров я ловил на реке Белой, что возле Уфы. Осетриной кормил раненых генералов и бойцов Красной Армии,— начал было опять хвастаться Володя, но тут же резко дернул за удилице.

— Эх, ушел, дьявол, унес в губах крючок! Тьфу!— плюнул он от досады.

— Кто, кто ушел?— не понимала девочка.

— Большущий сазан, вот кто ушел! Видишь, леска не выдержала, оборвалась, а то выволок бы я его как миленько-

го!— взволнованно объяснял Володя, не ведая того, что сазанов в Туве никогда и не водилось.

Солнце уже зашло за горизонт. Западный небосклон осветился пурпурно-красным багрянцем. Володя задумался. «Что же делать?»— мысленно задавал он себе вопрос. И ответа не находил. Время упущено. На ночь глядя нельзя было идти дальше, тем более по неизвестному маршруту. Он никак не мог вспомнить название местности, куда шел. Слово «Аргун» выскочило из головы, точно пугливый воробей из гнезда. Теперь ему даже дорогу спросить невозможно стало. «Вот так влип, как курица во щи! Но только не унывать! Только не унывать!»— твердил про себя Володя. Да он и не унывал, потому что рядом были замечательные ребята, которые не оставят его в беде. И не оставили. Володя пошел вместе с Сержикеем...

Первый раз в жизни ночевал Володя в юрте. Спал на ширтеке, на стеженном войлочном коврикe, постланном прямо на земле. Утром его разбудил Монгуш Ламажап, прибежавший из соседнего аала. Еще сонного, путем ничего не соображавшего мальчика увел он на берег Шагонарчика, дождался, пока тот умоется и освежится в холодной воде. Затем сели в тени буйно цветущей черемухи; долго и оживленно разговаривали. Говорил в основном Ламажап.

— Хорошо, раз такое дело, если тетя Полина в отъезде, я останусь у вас, дядя Ламажап,— наконец-то согласился Володя.

— Вот в том-то и дело, что Полины нет дома,— поддакивал Ламажап, сознательно скрывая истину от мальчика.— И тебе некуда идти. Вчера, узнав об этом, Иван сильно-сильно расстроился. Но я сказал ему так: «Слушай, мой самый лучший друг, ты зря печалишься. Твой мальчик будет жить у меня, и хорошо будет жить!» Как я сказал Ивану, так и будет. Скучать не будешь с моим сыном Орланом...

— Что? Орланчик разве ваш сын? Так это же просто здорово!— обрадовался Володя.— А где ваш красавец-иноходец?

— Какой красавец? Какой иноходец? О чем говоришь?— не понял смысла вопроса Ламажап.

И тут Володя рассказал о вчерашнем случае, когда мимо него проехал незнакомый всадник на прекрасном гнедом коне. А Ламажап только удивленно покачивал головой, приговаривая: «Ну и ну, обхитрил ты меня!»

В первый же день жизни среди тувинцев Володе Чернову пришлось столкнуться со многими особенностями национальных обычаев этого народа. «До чего же странные люди!— размышлял он.— К супу хлеба не подают, едят не за столом, а сидя на полу, как будто у походного костра на привале. Ложек и вилок и в помине нет. Пьют соленый чай, да еще забеливают молоком. А мяса у них много, ешь— не хочу!

И вкусно варят! А тарая со сливками — чем не лакомство? Нет, не скажу я, что мне здесь плохо, наоборот, хорошо! Дядя Ваня пусть не спеша поправляет свое здоровье, а я пока тут поживу!..»

Все правильно подмечено! В те времена тувинцы в повседневной жизни хлеба не употребляли, кухонной мебелью и столовыми приборами не пользовались. В их меню главенствующее место занимала так называемая тарая — обжаренная и толченая в ступе пшенная крупа. Правильно и то, что в мясных и молочных продуктах недостатка не было. Все это так, но удивительно совсем другое. Володя Чернов, хотя и малолетний, все же выходец из европейской части России, как-то невероятно быстро сумел приспособиться к весьма своеобразным условиям жизни и быта тувинцев-кочевников. Вот это действительно достойно удивления, не правда ли?

«Какой молодец! — восторженно шептал жене Монгуш Ламажап. — Сперва даже пиалу держать не умел, постоянно забывал облизывать языком посуду, из которой ел. А сейчас все делает точно так, как мы. И аппетит у него будь здоров! Запомни мои слова, кадай: подрастет он, повзрослеет, из него выйдет настоящий мужчина!»

За светловолосым мальчиком, бог весть откуда появившимся в сумоне, пристально наблюдал еще один человек. Это был старый тувинец Чондан, о котором вспоминал в госпитале Иван Козлов, как о признанном знатоке восточной медицины.

Однажды вечером старик Чондан привел Володю в свою юрту, посадил на самое почетное место и усердно потчевал. Володя, польщенный приглашением, важно говорил:

— Вы спрашиваете, дедушка, кто мои родители? — уточнял он вопрос хозяина юрты, чинно поднося ко рту огромный и жирный кусок баранины: — Мой папа, само собой понятно, донской казак, работал шофером в колхозе. Ох, ездил-то, ездил просто бесподобно! Что конь, что полуторка — одинаково лихо понужал. Отчаянный был, никого и ничего не боялся. Я тоже весь в него вышел. А мама в свинарнике за поросятами ходила. И я с ней — каждый день на свинарнике помогал. Знаете, какие они, поросята, потешные! Визжат, рылами друг друга тыкают, дерутся и кусаются, весело с ними возиться, хе-хе-хе... А к моей маме они ласкались, потому что добрая она была. Что вы сказали? Богато ли мы жили? Не бедно мы жили, дедушка, у нас во дворе водилась скотина, держали курей, гусей и индюков, а про свиней и говорить нечего...

Мудрый старик Чондан дал своему юному гостю полную свободу высказаться, ни разу не перебивал его, терпеливо слушал, но в то же время искусно использовал малейшую возможность для того, чтобы выудить нужные сведения. Благодаря этим ухищрениям ему стало известно, что отец Володи Чернова ушел на фронт в сорок первом году, по словам

мальчика, «прямо с покоса, не успев поставить зарод». Писал он домой редко, а в письмах наказывал жене, чтобы она берегла муку и зерно, что хранилось в амбаре, к зиме запаслась как можно больше соленьями, ни в коем случае не откармливала свиней и птицу хлебом. По-видимому, лихой донской казак еще тогда хотел предупредить своих родных: «Будьте готовы ко всему, в том числе и к самому худшему, война есть война...»

Последнее письмо с фронта пришло, как теперь помнит Володя, «в ненастную пору, когда вторые сутки беспрестанно моросил холодный, пудный осенний дождь».

— В тот день мама долго-долго плакала, плакала навзрыд, беспомощно уронив голову на стол. Ревела и сестра, а я понял, что с папой случилась беда, может быть, даже убили его,— рассказывал Володя, устремив немигающий взор куда-то в сторону.

Речь шла, конечно же, о похоронной. Об этом догадывался и старик Чондан. «Раз человек даже не успел завершить начатый зарод, значит, сильно торопился на войну. А погиб, видать, где-то в октябре или ноябре!»— думал он, слушая мальчика.

Летом сорок второго года через казацкий хутор, где жил Володя Чернов, вдруг сплошным потоком двинулись люди с верховьев Дона на восток.

— Ну и мы присоединились к ним, взяв с собой харчей, сколько можно было унести на плечах,— грустно вздыхал мальчик, тайком смахнув слезинку.— Ох, и натерпелись мы страху, дедушка, аж вспоминать жутко! Представляете, жара невыносимая и духота! Пить хочется, а воды нет. Шли степью, над головой кружатся, как коршуны, немецкие самолеты и сбрасывают бомбы. А прятаться негде, местность-то открытая. Умирала люди, их хоронить не успевали...

Да, все это, конечно, сущая правда. Как раз во время одной из таких злодейских бомбежек, когда среди неуправляемой толпы беженцев возникла невообразимая паника, Володя Чернов и потерял из виду маму и сестру, которая была старше его на три года.

— Я их искал везде, нарочно задерживался на железнодорожных станциях, на переправах через Волгу, но так и не дождался,— спокойно сообщил Володя старику Чондану и вдруг почти истерично крикнул:— Нет, нет, живые они, где-то бродят, ищут меня!..

О своих дальнейших похождениях Володя рассказывал как-то путано и сбивчиво, то и дело перескакивая с одной темы на другую. В этом рассказе было много вранья, несуразицы и бахвальства. «Такими слабенькими ручонками не то что шесть танков поджечь, но даже теленка-сосунка навряд ли можно свалить»,— думал старый Чондан.



Умный старик, имевший склонность к философствованию, рассуждал: «Живого немца он видел, и не раз! Мальчик своими глазами видел смертоносные разрывы снарядов и бомб, гибель, мучения и страдания людей. Буду лечить его травами».

### 3. Возвращение Ивана

Хлебороб всегда хлебороб, его неудержимо манит поле, где зеленеют всходы, где гудят шмели, где шелестят колосья.

Иван Козлов, больше месяца пролежав в больнице, шел домой. Шел он напрямик, по бездорожью, через поля Аргунского госхоза. Эти места до боли в сердце знакомы ему, десятки и сотни раз исхожены и истоптаны вдоль и поперек. Эти места вставали перед глазами Ивана в сырых, тесных окопах войны. Эти места почти наяву грезились ему, когда он, мучимый бессонницей, с полужакрытыми глазами коротал длинные ночи в госпиталях. Сейчас он шел по этим же полям, которые оставил, уходя на фронт. А на душе — смутное беспокойство, потому что многие деляны пустовали, на них буйно произрастали осот, пырей, молочай и прочие сорняки. «И сюда, в такую даль, дошло ее пагубное, всеразрушающее дыхание, будь она проклята на веки веков!» — ругал Иван Романович войну, увидев явные признаки запущенности на полях своего госхоза. Он замедлил шаг, внимательно всматривался во все стороны и как бы разговаривал сам с собой. «Во-он, на том пологом косогоре, что дугой огибается оросительной канавой, какие богатые урожаи пшеницы снимали мы с Шир-оолом! Шутка ли, по триста пудов с га! А зерна-то какие были! Крупные, тугие, чистые — любо смотреть! Работящий был парень Шир-оол. Хотя из племени кочевников, а хлеборобская жилка в нем была. Когда нужно, сутками не слезил с трактора, за что ни брался, все у него получалось куда с добром! Одним словом, молодец! Я его больше всех ценил и уважал, а выходит, именно он отбил мою законную супругу. Ну и дела, прямо диву даешься!.. — горько усмехался Иван, скривив углы губ, но тут же протестующе мотнул головой: — Не-ет, дудки-свистульки! Если кого винить, так только не Шир-оола! Он слишком скромн и тих, на любовные шалости не гожд. И до женщины ли ему, когда у него полная юрта детишек мал мала меньше? Жена Шир-оола, кажется, умерла в сороковом году. Да, в сороковом, весной, во время страшного droughtа. Я ее хорошо помню — такая розовощекая, статная, молчаливая тувиночка, большая мастерица шить овчинные шубы. Каждый год рожала, а тут не смогла разродиться, бедненькая...»

Иван остановился, чтобы набить трубку табаком. «Н-да, вот такие чудеса! Шир-оолу, конечно, не до женщины, у него и

так забот и хлопот полон рот,— продолжал он прерванный разговор с самим собой.— Тогда кто же? Неужели Полина? А что? Разве она святая дева Мария? И вообще, далеко ли бабе до греха? Муж неизвестно где шастает по фронтам, долго не пишет письма. Как ни крути, она ведь человек из плоти и крови, стало быть, ей присуще все человеческое. А все же, признаться, не могу заподозрить Полину в неверности, срази меня гром, не могу! Она всегда отличалась строгим поведением, да и жили мы с ней душа в душу, никогда не ссорились, выросли в одной деревне, дружили с младенчества, чуть ли не с пеленок. А тут, видишь ли, пустила она в дом другого. Н-да, просто чертовщина какая-то!..»

Что верно, то верно, Иван и Полина выросли в одной деревне, в соседских дворах. Вместе ходили в школу, вместе пошли на курсы трактористов, работали тоже вместе и в конце концов поженились. Семейная жизнь у них сложилась именно так, как благословляли родные и близкие за свадебным застольем: в счастье да согласии. Правда, не было детей, а могли быть, если бы однажды, давным-давно, не приключилась беда с Полиной.

Тогда она была молода, сильна и задорна. И уже на сносках. Как-то на поле заглох трактор. И Полина, сидевшая за рулем, проворно соскочила на землю, взялась за заводную ручку и резко крутанула. Мотор затарахтел, а у самой Полины потемнело в глазах. С большим усилием устояла на ногах, почувствовав острую, как удар ножом, боль в нижней части живота. Вечером того же дня произошел у нее выкидыш, вот и все...

«Эх, мать честная, как она тогда хотела ребенка, к кому только не обращалась за помощью!— на ходу улыбался Иван, вспоминая о прошлом, о своей и Полиной молодости.— И к врачам, и к бабкам-повитухам, даже ходила к тувинскому шаману, а все без толку! У нее в нутре, в нужном месте, должно быть, что-то надорвалось, нарушилось. А женщина она смиренная, тихая, застенчивая, из порядочной, в бога верующей крестьянской семьи. Нет, и на Полину не могу грешить, срази меня гром, не могу!»— горячился он, один за одним выпуская изо рта клубки едкого дыма.

Вечерело. Иван Романович шел, занятый грустными думами о том, что его ждет впереди, как встретит жена, как он должен вести себя, придя домой. Вдруг встрепенулся, услышав короткие, щелчкообразные звуки: чик-чик-чик!.. Это суслик, стоя торчком, на задних лапах, то ли дразнил, то ли приветствовал одинокого путника, медленно идущего по полю. Иван повеселел: «Ишь, пузо-то как отбóстил, видать, старый ты хрыч!— мысленно пожурил он суслика, сразу переключаясь на шутовское настроение.— Ну, чего расшумелся, узнал, что ли, меня, бывшего бригадира здешних полей? Или тебе

в диковинку однорукий человек? Нет, брешешь, милый! Нынче нами, инвалидами, пожалуй, никого не удивишь! Что ни мужчина в тылу — считай, калека. А как же иначе? Ведь уже целых два года идет война! За это время знаешь сколько народу покалечилось, просто ужас! А погибло сколько? То-то и оно, что не знаешь ничего. Да и откуда тебе знать? Ты же сроду пороха не нюхал, свинца не отведал, в ноябре сорок первого под Москвой не был, про Сталинград и слыхом не слыхал. А я, дружок, если хочешь знать, прошел через огонь, воду и медные трубы. Мои уши привыкли к громоподобным артиллерийским залпам, к душераздирающему лязгу танковых гусениц, к свисту пуль, к истошным крикам и стонам раненых бойцов. А вот сейчас, после всего этого шума и грохота войны, твой мирный голосок приятно услаждает слух, честное слово! Беда только в том, что не пойму я, о чем ты там лопочешь, так что извини, пожалуйста, лупоглазый!..»

Суслик никак не унимался: чик-чик-чик! Чик-чик-чик! А Иван с удовольствием потешался над ним. «Кричи, кричи на здоровье, хоть глотку выворачивай наизнанку! Но не вздумай шалить! Если начнешь вредить посевам, не посмотрю, что ты мой старый знакомый, доберусь до тебя, общипаю догола, весь жир вытряхну!..»

Когда назойливый суслик остался позади, мыслями Ивана завладели другие, более близкие сердцу хлебороба заботы. «Засорились поля,— замечал он своим хозяйским глазом.— Пока их не очистишь, хорошего урожая не видать! Н-да, придется потрудиться до семи потов! Ну что же, раз мне на фронт путь заказан, повоюю с сорняками, они ведь тоже враги, да еще какие! День и ночь зубами скрипеть буду, шерстью обрасту, грыжу наживу, про сон забуду, но эту нечисть выведу! Одной оставшейся рукой буду выдергивать сорняки, все до единого повыдергаю, а осенью, по желтой траве, пушу пал, как говорили в старину, красного петуха. Ополченному человеку сам черт не брат, он на все способен, даже смерть презирает, а задуманное дело сделает, как тот майор-артиллерист, царство ему небесное!— вспомнил Иван один эпизод тяжелого лета сорок второго года. А было так...

На излучине Дона горстка красноармейцев держала оборону, прикрывая отход основных частей. Ряды бойцов быстро редели, командир погиб, его место занял сержант Иван Козлов. Как-то под утро к нему подошел незнакомый офицер с автоматом в руках, давно не бритый, в запыленной и изодранной одежде. Веки его глаз беспрерывно дергались, а сам офицер, видимо, контуженный и оглохший, громко и отрывисто кричал, выговаривая слова с характерным гортанным кавказским акцентом: «Где командир? Убит? В таком случае я, как старший по званию, беру на себя командование взводом. Что? Кто я такой? Майор Вагахшанян, командир артдивизио-

на. Мои орлы честно и до конца выполнили приказ, но все полегли, силы были слишком неравные. Что? Остался кто в живых? Нет, в живых никто не остался, все пали геройской смертью, их подвиг по достоинству оценит Родина...»

Майор еще что-то хотел сказать, но не успел. Из-за бугра появились танки, на бронированных боках которых нарисованы белые кресты. «Приготовиться к бою!»— заорал он во все горло и, зажав под мышками две большие мины, пошел навстречу вражеским танком. Пытались его остановить, но безуспешно. Окриков он не слышал, да и вокруг него уже дзинькали пули, сердито выбивая пыль из сухой солончаковой земли. А майор шел и шел. Фашистские танкисты стрелять в него из пулеметов с близкого расстояния не могли, потому что майору каким-то чудом каждый раз удавалось оказаться вне сектора обстрела. Наконец грохнул ужасающей силы взрыв. Башню переднего танка оторвало и отбросило метров на двадцать в сторону. Майор сделал свое дело, ценой своей жизни... «Н-да, в порыве решительности человек идет на все, даже на единоборство со стальным чудовищем, изрыгающим смерть. И побеждает его!»— с восхищением думал Иван Романович, приближаясь к Аргузуну.

В вечерних сумерках он издали увидел темное очертание своего дома и остановился как вкопанный. Ноги задрожали в коленях, по спине пробежали неприятно зудящие мурашки, во рту похолодел язык, бешено застучало сердце. Пришлось садиться на влажную кочку и раскуривать трубку. «Чего я волнуюсь,— успокаивал он себя,— разве совесть моя не чиста перед женой, перед народом, перед Родиной? Разве найдется в мире хоть один человек, который упрекнет меня за то, что рано отвоёввался? Лишился я руки на фронте, так это не моя вина, а моя беда. На войне со всяким таким может случиться, не я первый и не я последний. Не дошел я до Берлина — дойдут другие, настанет звездный час нашей Великой Победы! За приближение этого часа и я пролил свою кровь! Нет, Иван, не унывай, не вешай нос, смело войди в свой дом!..»

Иван Козлов встал и твердыми, уверенными шагами двинулся дальше, но в сердце скребло какое-то тревожное, грустное предчувствие. «Ладно, чему быть — тому быть, иди, иди вперед!»— приказывал он себе, уже открывая калитку, которую сам же сколотил и навесил два года назад, перед самым уходом на фронт.

А там, за калиткой, Ивана молча обнюхал, почтительно махая хвостом, старый рыжий пес, принадлежавший Широолу. Тут же у крылечка стояли мужские бродни тувинского фасона, тоже, видимо, принадлежавшие Широолу. В доме никого не было. Иван Романович в темноте ощупью нашел керосиновую лампу и зажег фитиль. Оказалось, что внутреннее убранство жилища почти не изменилось, как было, так и

осталось. «Значится, порядок!— с удовлетворенным размышлял он.— Если Полина и Шир-оол крепко сошлись, мешать им не стану, они оба хорошие люди, пусть вместе живут и радуются. А мне сбоку припека лишней обузой быть не гоже, отделиюсь от них, поди, с голоду не помру...»

Полина и Шир-оол пришли поздней ночью. Увидев мужа, Полина бросилась к нему на шею, смеялась, плакала, заключив в мощных объятиях ослабевшего фронтовика, беспрестанно целовала и ласкала его, только и слышно было: «Родной мой! Милый мой! Желанный мой!..»

Этой бурной сценой встречи, этими рыданиями и причитаниями, этими искренними проявлениями неподдельной радости и нежности жены Иван был тронут до глубины души и сам заплакал, не стесняясь своих слез и бормоча: «Легше, легче, Полина, так сильно не мни, ребра трешшат, освободи меня, ради бога, милая...»

И с Шир-оолом он поздоровался по-дружески вежливо, не выказывая никаких признаков ревности и неприязни. Даже разговор начал чересчур просто и обыденно, как будто из дому никуда не отлучался, не провел долгих и тяжелых два года на фронте.

— Что-то припозднились вы сегодня. Издалека, что ли, шли? Где нонче пашете?

— И не говори, Иван, родненький мой, измучились мы до невозможности. Вот уже вторые сутки бьемся, а трактор не заводится,— тараторила Полина, не сводя глаз с мужа.

— На «Челябинце» пашете? Свечи проверяли? Не сбилось ли зажигание? Может быть, трубка засорилась?

— Да все проверяли, Иван, веришь ли, родной мой! Карбюратор перебирали, головку блока снимали, трубку продували, а толку нет. Искра есть, горючее поступает, а никак не заводится,— жаловалась Полина, беспомощно разводя руками.

— Гм, интересно, в чем же дело? Ладно, как говорится, утро вечера мудренее. Завтра все вместе пойдем и найдем причину,— спокойно сказал Иван. Мысленно он рассуждал так: «Война обнажает душу человека. Сволочь еще сволочнее становится, трус еще трусливее, а честные люди остаются сами собой. Не похожи Полина и Шир-оол на нечестных людей, прямо смотрят в глаза. Неужто лгут? Нет, разрази меня гром, нет! По глазам ихним вижу: не повинны они ни в чем, ей-богу, не повинны!»

Ночевали все трое под одной крышей. На следующее утро трактор завелся без особых затруднений. И Иван, стоя на свежей, пахнувшей древним, могучим земным духом борозде, думал: «И все же придется мне объясниться с ними...»

Разговор состоялся в тот же день, вечером, причем получился непринужденным, даже веселым, со смехом, с шутка-

ми и прибаутками. И выяснилось вот что. Шир-оол, человек в высшей степени скромный и тихий, отправив своих детишек на лето к родственникам, один в юрте жить не стал — оно и далековато от пашни, — а поселился временно, по ее приглашению, у Полины. И жили они в избе, как брат с сестрой, Шир-оол никогда не забывал, что был он другом и товарищем не только Полине, но и ее мужу. Вот и все. И, выяснив это, Иван внутренне осуждал самого себя: «Дело-то, оказывается, выведенного яйца не стоило, напрасно я волновался, чуть было не отрекся от жены. Эх, дуралей же я, честное слово, пень-пеньком! Ну, слава богу, теперь, кажется, даже дышать легче стало. Тяжелый груз с плеч свалился...»

Уладив семейные дела, Иван Романович отправился за Володей Черновым. Когда возвращались домой, Володя, необычайно веселый и говорливый, с восторгом рассказывал о своих новых друзьях, о старике Чондане, об особенностях образа жизни тувинцев. Шли они не торопясь, вразвалочку, наслаждаясь утренней прохладой, беззаботно разговаривая между собой.

— Слышишь, дядя Ваня, когда тувинцы спрашивают о войне, почему мало говоришь?

— Эх, знал бы ты, Вовка, как мне тяжело говорить о войне! И вообще я так понимаю, что когда идет война, причем война не на жизнь, а на смерть, нужно воевать, а не говорить. Ты сам посуди, о чем мне говорить-то? Я же толком и не знаю, какая нынче обстановка на фронте. Зато знаю, что враг все еще очень силен, его просто так шапками не закидаешь. Одним словом, хвастаться рано, Вовка, рано...

Да, Иван Козлов был прав, жалуясь на свою неосведомленность во фронтовой обстановке. Находясь за тысячи километров от фронта, мирно шагая по тихой, росистой лесной тропинке вдвоем с Володей Черновым, он не мог знать, что как раз в тот день, пятого июля тысяча девятьсот сорок третьего года, началась величайшая Курская битва, по существу окончательно решившая победоносный для советского народа исход второй мировой войны.

— Смотри, дядя Ваня, какие чудесные цветочки! На, понюхай, до чего приятно пахнут! — приставал Володя.

Иван Козлов молчал, его вдруг стали одолевать грустные мысли, он опять весь ушел в себя. «Мальчику тут благодать! — думал он. — Все его радует, все развлекает. А тем, кто сейчас на передовой, каково? Тяжко, ой как тяжело! Здесь птички щебечут да пчелы летают, а там бомбы да снаряды ухают, из земли родной пыль вытряхивают. Была бы цела моя рука, я тоже был бы там и слушал ту грозную музыку, которую издает война. А как же иначе? Раз враг затеял войну, с ним нужно биться, биться беспощадно, до победного конца! Так велит партия, так велит Родина, так велит сердце! Ох, не ко

времени я инвалидом стал, ведь немцу-то еще недалеко от Москвы, его надо гнать да гнать, гнать до тех пор, пока он совсем выдохнется и упадет носом вниз. А выдохнется он, хоть живуч и вынослив, гад, все равно выдохнется, это уж как пить дать! Наши где-нибудь устроят им второй Сталинград, или еще похлеще долбанут, тогда всё — фрицам конец, мать их в душу! Валом покатаются назад, на карачках будут пятиться, думая лишь о том, как бы унести ноги с нашей советской земли. Мне не раз приходилось слышать ихний противный голос: «Русь зольдат, сдавайся...» Шиш им в рыло! Я и не думал сдаваться, теперь пушай сами сдаются! Вот так-то, такие дела, Иван, а ты чем будешь заниматься? Над этим вопросом думал или нет? Само собой, думал. Без дела не останусь, найду себе занятие. Я ведь, как-никак, потомственный хлебороб».

Вскоре они были дома. Полина суетливо забегала, не зная, чем и угодить такому хорошенькому мальчику, словно сыну долгожданному... Как говорится, все возвратилось на круги своя.

А дальше что? Как сложилась после войны жизнь Ивана Козлова? Об этом разговор особый. Так или иначе, Иван Романович жив и здоров по сей день, и на груди его сияет орден Ленина. Согласитесь, уж этой-то награды никто не удостоивается просто так, за красивые, как говорится, глаза. Значит, человек славно трудился, достиг в своем деле выдающихся успехов. Но об этом — потом...



*Вячеслав Тимофеев*

## **ТАКАЯ СЛАДКАЯ КАША**

*Рассказ*

В дни благополучия некоторые вещи теряют ценность, вернее, временами мы перестаем их замечать. Многие ли сейчас скажут, чем пахнет, скажем, лебеда? Мне, например, нередко кажется, что травы такой и вовсе нет на свете, что вывелась она давным-давно. Разве что иногда у заброшенных деревенских домов найдешь кустики чахлах бледно-зеленых былинков.

А в дни лихие лебеда была постоянной спутницей многих людей. Она, словно чувствуя беду, в годы невзгод перебиралась поближе к покосившимся без мужицкого пригляда домам — на ту землю, от которой война отняла крепкие крестьянские руки и оставила все на бабью долю.

Помню целые поля лебеды и крапивы. Поля, которые не засевали, а урожай с них из года в год аккуратно снимали.

А можно ли вспомнить запах этой травы, вкус ее, если с тех пор минуло более сорока лет? Вот крапива, на мой взгляд, огурцами отдаст. А лебеда? Чтобы ответить на этот постоянно мучающий меня вопрос, в начале прошлого лета решил вновь попробовать блюдо военных лет. Сел в автобус, выбрался за город и отыскал на пустыре, где когда-то стоял, должно быть, коровник, несколько кустов худосочной лебеды. Нарвал ее, вернулся домой, обработал по всем правилам и поставил варить на электропечь. Жена сперва, похоже, подумала, что я готовлю прикормку для рыбы, и, как всегда, не стерпев, сказала:

— Что за мерзость варишь, дорогой? Запах до того противный — задохнуться можно. Хоть бы форточку открыл, что ли.

Я промолчал.

— Но это выше моих сил! Сказать-то, поди, можно, что это за отвратительное месиво?

— Деликатес это. Первейшая человеческая еда.

— Есть, что ли, будешь эту мерзость?

— Конечно.

Свое пренебрежительное отношение к чему-либо жена выражала одним словом — «мерзость». Но я давно свикся с мыслью, что каждый человек изъясняется, как пожелает, и, не обращая внимания на воркотню жены, продолжал готовить себе еду. Может быть, она в чем-то была права по части запаха, потому что, как мне показалось, в кухне в самом деле нечем стало дышать. Кроме того, похлебка напоминала заросшую тиной болотную воду, и в кастрюле, по моим самым неприятательным меркам, не хватало соли, масла, картошки. Все же я держался стойко и продолжал помешивать булькающее варево.

Рядом, за столом, сидела моя избалованная восьмилетняя дочь.

— Съешь котлетку, доченька, — уговаривала ее мать.

— У-у-у.

— Хочешь, кисанька, я омлетик поджарю? Три минуты — и омлетик готов, а?

— Опять омлетик...

— Ну тогда сметанки с булочкой, лапочка, — идет?

— Не буду. — Дочь с любопытством поглядывала в мою сторону. — Я вот что хочу, — она показала пальчиком на бурозеленое варево в моей чашке, которое испускало пар.

— О, пожалуйста, уважаемая! Буду очень рад, если ты поделишься со мной трапезу. Только уговор — есть все до конца.

— Ладно, — согласилась она и мужественно зачерпнула полную ложку, засунула было ее в рот, но тут же выплюнула лебеду прямо на стол:



— Фу! Какая гадость!

Дочь проворно выскочила из-за стола, тщательно прополоскала рот, схватила яблоко, погрызла его малость, бросила на стол и пошла из кухни, повторяя: «Фу, фу!..»

— Куда же вы, уважаемая?

Я тихо засмеялся. В этом возрасте меня не надо было уговаривать съесть «еще хоть кусочек, еще хоть ложечку». Разносолов тогда на столе не было: что поставят, то и ешь. Мало того, в таком возрасте я уже помогал по хозяйству, знал, что почем.

То было время, когда с фронтов приходили вести одна печальнее другой, когда в деревнях мужицкое племя составляли деды да сопливые мальчишки, когда еще не родилась жена, подарившая мне такую капризную дочь. Я не знал тогда, что такое витамины, а первое яблоко съел только через три года после войны.

Многое забылось за четыре с лишним десятилетия: одно запечатлелось четко и ясно, другое и вспомнить-то невозможно. И кажется мне порой, будто ясные дни чередуются с мглистыми ночами.

Но, как бы там ни было, память надежно сохранила многие картины, которые нет-нет да и встают перед глазами, как сцены из немого кино.

...Перед незанавешенным окном стоит стол. Солнце нагрело выскобленные добела доски, и на них приятно держать голые до локтей руки. Справа от меня сидит заросший щетиной отец. Оставленный в тылу (у него имелась бронь), он сутками не выходит с фабрики, бредет раз в месяц. Я редко его вижу, еще реже — когда он ест. А сегодня мы обедаем вчетвером. Слева от меня — сестренка с матерью. У нас с сестренкой по полстакана молока и по кусочку мякинного хлеба. У отца с матерью общая чашка с буро-зеленой кашей. От нее идет необычный, странный запах.

Отец ест, не поднимая головы, не глядя на нас. Он буд-то с силой запихивает в себя ложку за ложкой. Именно тогда в душу закралось первое в жизни, может быть, осознанное чувство совестливости: они жалеют нас с сестрой, и потому, подумалось мне, ни отец, ни мать не смотрят в нашу сторону, словно боясь выдать себя чем-то.

— Ешь, Ванюшка, молочко, ешь, — не отрывая глаз от чашки, проговорила мать.

Я взялся за стакан, но какая-то сила вновь удержала меня. Что это было — совесть, стыд? Я ем лучшее, чем мать с отцом. Я еще четко не представлял, что они едят, но смутно догадывался, что обед разделен нечестно.

— Чего расквасился? — мать зыркнула на меня рысьими глазами, словно угадав мои мысли.

— Хочу вместе с вами, — я вытянул шею в сторону чашки.

— Трескай, че дали!  
— Хочу вместе с вами.  
— Дай ему,— буркнул отец.

Мать тут же подала мне из общего котла:

— На, язви тебя в душу, на!

Родители по-прежнему не глядели в мою сторону, однако как-то умудрились следить за каждым моим движением. Я решительно черпнул ложкой, подул на нее, как полагается, и — в рот. Надо было глотать, а не глоталось, И опять же, наверное, первый раз в жизни я проявил волю: проглотил-таки!

Это была лебеда. На глазах выступили слезы. От натуги.

— Ну и что?— спросил отец, пряча лукавую улыбку.— Вкусно?

Я помотал головой: нет.

— То-то. Раз не понимаешь вкуса, ешь молочко. А это, — он постучал ложкой о край чашки,— от тебя не уйдет.

Слова эти я хорошо запомнил, и с той минуты начался сознательный отсчет в моей жизни, к тому же память аккуратно записала этот случай, который не расплывается и, надо полагать, не выветрится еще долгие годы.

Через год я уже не ел молока: поднялся из зыбки братец, а его место заняла сестренка. Каждый более или менее вкусный кусок полагался младшим. Старшим свой паек надо было заработать.

Отец день и ночь — на фабрике. Мать часто болела, лежала пластом, а в те дни, когда держалась на ногах, хлопотала по хозяйству. Хватало забот и с малышами, их как-никак — четверо. И, как ни крути, без моей помощи в доме было не обойтись.

Отец сделал выводы:

— Седьмой год балбесу, не развалится, если за коровой начнет убирать.

Действительно, что мне могло сделаться? Вполне, можно сказать, взрослый мужичонка, к тому же шустрый. Голова гладкая, как тыква, подстрижена под нулевку, уши напоминали цирковые зонтики, чтобы, значит, голова на тонкой длинной шее сильно не качалась. Но ни лопата, ни вилы из рук не вываливались.

Я облачался в старую отцовскую спецовку, доходившую мне до колен, и каждое утро чистил стайку. Летом Зорька целыми днями бродила по лесу — уборки меньше. Во всяком случае, утром чуть-чуть подчистишь — и все. Зато зимой дел прибавлялось, ведь в морозные дни корова сутками в хлеву. До обеда, при тогдашней силенке, отдирали лепешки от пола и выкидывали в огород.

Жалко мне было Зорьку в холодные дни. Ноги ее покрывались навозными бляшками, и отодрать их не было никакой

мочи. Кругом торчали острые кости, будто длинные деревянные козлы кто-то старательно обтянул кожей.

— Как там наш скакун?— изредка спрашивал отец.— Ей бы под седлом ходить, да рога мешают, где-нибудь застрянет.

И в самом деле, наша корова походила на лошадь. У нее были длинные тонкие ноги, продолговатую худую голову Зорька держала высоко, по-лошадиному, а спину выгибала грациозно, чуть ли не с достоинством. И сла все подряд. Как лось или коза, жевала кусты, стружки, большой давности солому с крыши сарая. Нужда, видать, приучила. Да и кому было запастись корма до весны, коли отец за все лето мог выкровать на сенокос день или другой — не больше, а мать пласталась по дому да часто хворала? И когда подходили травы, я закидывал на плечо мешок и шлепал в сосновый бор за выселками. Бор был старым, деревья — неохватными и до того высокими, что мне казалось, будто они цепляют верхушками проплывающие в небе облака. В том бору как-то особенно звонко насвистывали птицы, трава в медной хвое и сосняк просматривались насквозь до реки, до гор на другом берегу.

До косьбы, понятное дело, я не дорос, приходилось рвать траву руками, потому пальцы, ладони были вечно изрезанными и настолько пропитавшимися зеленью, что отмывать их не имело никакого смысла. Курочка, говорят, клюет по зернышку, так и я: в день удавалось набивать два плотных мешка, а когда расстарасешься — и три. Но все равно моих мешков на сибирскую зиму оказывалось мало.

Сена и в зиму сорок пятого Зорьке не хватило, и по привычке прежних лет она сама наловчилась добывать корм.

— С такой коровой не пропадешь,— говаривал отец.— Все основные жерди на пряслах объела.

— Такое и молоко,— возражала мать.— Молочко у коровы на языке. А у нее? Крынки не надо мыть после такого молока.

Зорьке, видно, нравилась козья еда, и я всерьез начал опасаться, как бы она не разучилась пастись на траве. Весной, когда стаял снег и кое-где стала пробиваться трава, Зорьку решили выгнать на опушку. Во дворе отец строгал доску, что-то мастерил. Зорька не пошла на улицу, а в два маха очутилась рядом с верстаком и с жадностью набросилась на стружки.

— Пшла!— замахнулся отец на нее рубанком.

Корова шарахнулась в сторону, зашла с тыла и вновь набрала полный рот розовых кедровых стружек.

— У-у-у, пропастина!— не на шутку рассердился отец и швырнул в Зорьку поленом.— Ну что ты с ней будешь делать, что за дурная скотина! Шла бы траву жрала, так нет, — подай ей дерево. Черт знает что такое!

Зорька отбежала на безопасное расстояние, дожевывая стружки, умоляюще замычала, будто говоря: «Жалко, что ли?» Постояла и, так ничего не дождавшись, медленно побрела по проулку, на ходу обдирая кое-где необглоданные жерди. Ушла за околицу и — пропала. Я злился на отца: на него же обиделась Зорька, зачем он ее поленом саданул? Мать волновалась:

- Молоко перегорит, испортится вымя.

- Ничего с ней не сделается, — успокаивал отец, — как раз наоборот: дойти захочет — прибежит.

Зорька и впрямь вскоре прискакала сама. Издалека протяжно, громко замычала. Мать схватила ведро с пойлом, подойник и устремилась во двор. Зорька подбежала к воротам, сунулась мордой поверх прясла, потом пропихнула рога между жердями, глаз не сводила с ведра, жадно облизывалась.

Пока мать доила, я гладил Зорьку. За два дня «самоволки» она малость поправилась, кое-какие кости спрятались.

Но весна для Зорьки еще не была избавлением от прошлых лишений, ей еще предстояли немалые испытания. Людям же та весна принесла великую радость — кончилась война. И как только эта весть долетела до поселка, женщины вмиг выбежали на улицу, закричали, запричитали и кинулись друг к другу, обнимались, не стыдились годами накопившихся слез. То были слезы радости и горя одновременно, и это понимали даже ребятишки, которые, как и взрослые, засновали по переулкам, из дома в дом, будоража всех, в том числе немощных дедов и старух.

Улица наша маленько повеселела, и в течение недели едва ли не каждый день устраивались гулянки, хотя по многим статьям жили по-старому: варили те же крапивные борщи, кисель из мерзлой картошки и похлебку из лебеды.

В доме нашем тоже стало светлее. До этого вечно суровая, с плотно сжатыми губами мать однажды вышла на улицу на диво веселой, пела смешные частушки, лихо плясала. В тот день она надела скользкое платье из коричневого сперливами трофейного шелка, который привез кто-то из фронтовиков, а сего жсна, в свою очередь, поделилась с матерью. Мне было приятно потрогать необычную ткань, и я путался у матери под ногами, чтобы хоть нечаянно прикоснуться к ней. Странное это было ощущение: и тепло, и прохладно.

В те угарные от счастья дни люди не забывали заниматься необходимыми делами — колхозными, фабричными и домашними. Однажды отец вытянул из кладовки какие-то деревяшки, ремни, веревки. По обыкновению своему все делал молчком: уселся на крылечке, пригретом майским солнышком, начал что-то мастерить с мрачным видом.

Вскоре он встал, отложил в сторону готовую сбрую.

— Земля подсыхает, пора пахать. Можно завтра запрягать резвого рысака.

— Кого запрягать-то?— удивилась мать.

— Корову.

— Че турусись-то?

— Ладноть!

— Сдурел наш отец,— как бы обращаясь к нам, затараторила мать.— Она ж себя еле носит—кожа, кости да рога. Вот и вся корова. Молоко ж вовсе присохнет.

— Разве это молоко?

— Жиденькое, да свое.

— Ладноть! Ни хрена этой савраске не будет. Ноги не отвалятся, рога тоже на месте останутся, не переживай. Я за все в ответе.

Спорить с ним — что воду в проруби мешать. Уж коли задумал что-либо, не своротишь.

Вывели «скакуна» на пашню. Зорька выделявала такие кренделя, что первые десять борозд пришлось перепахать. Отвисшее вымя, как пустая длинная авоська, болталось меж ног, било по коленкам, мешало идти резво. Но мало-помалу Зорька приноровилась. Должно быть, привыкла к сбруе, к бесконечной отцовской ругани.

Вперемежку с матерями отца и жалобными вздохами матери и вспахали землю...

Многие семьи в тот год сеяли гречиху, ячмень, пшеницу, овес. Большинство в поселке были в прошлом крестьяне, хорошо знавшие труд хлебопашца, а часть людей продолжала работать в соседнем колхозе. Словом, от земли кормились и понимали, что без нее, без ухода за ней никак невозможно.

Мы посеяли просо.

Пацанов поначалу интересовало все: как пашут, как сеют. Заскучали, когда появились всходы и пришла пора полоть: ногой боязно ступить, а пройти надо через все поле, каждую травинку выдернуть, не повредив нежные стебли, которые никли, потревоженные. Конца и краю ни осоту, ни молочаю, ни пырею не было. Кажется, не выдюжишь, не осилишь — упадешь и сломаешь просо. Спина, шея, руки деревенели, а из глаз временами катились слезы. Мать замечала строго:

— Расквасился опять! Сейчас же убери мокроту.

И снова, отвернувшись от реки, весело журчащей на перекате, пригибаешься к земле. И вдруг неожиданно прополка кончается...

А потом была жатва. Так хотелось побыстрее попробовать в деле новехонький серп, подаренный матерью, которая предварительно провела со мной небольшой инструктаж по технике безопасности. Это был техминимум по теории, а на траве прошел практику. Неплохо получалось.

И вот вместе с матерью с серпами наперевес мы двину-

лись в поле. Захватываю пучок стеблей — раз. Есть. Еще раз, еще. Как здорово! Прибавил скорость — раз! — резанул вместе с пальцем, аж кость скрипнула.

— А-а-а!

Со слезами протягиваю матери окровавленный палец.

Мать бросила серп, проворно подскочила ко мне, крепко схватила за уши...

Никогда она так больно не рвала уши.

— Ах ты, раззява, язви тебя в душу!

Волосы ее растрепались, глаза помутнели. Я ничего не понимал: позвал мать, ни капельки не сомневаясь, что она пожалест, забинтует рану. А она — бить.

Этот случай много лет вспоминал с чувством обиды, даже злости. За что она меня била? Всегда становилось так жаль себя, что слезы выступали сами собой. За что? И только став взрослым, понял много. Конечно же, матери больно было смотреть на разрезанный палец. Но я не должен, вот в чем дело, не должен был резать палец! Она не хотела, чтобы я искалечился. Иначе ей всю жизнь пришлось бы раскаиваться из-за того, что дала мальцу серп. А коли дала серп, так и работу подавай. Три-четыре снопа навязал бы, и то — польза.

Но в тот жаркий осенний день мне было нестерпимо больно, а еще более — обидно.

Мать, отдышавшись, приказала:

— Сорви подорожник, обмотай палец, завяжи его между двумя лучинками, чтобы прямо сросся.

Ни подорожник, ни щепочки, к которым я примотал палец, не помогли. Рана долго не заживала, а палец остался кривым.

Мне не пришлось участвовать в молотье: много ли сделаешь одной рукой...

Отец очистил в огороде большой круг земли, утрамбовал ее, стаскал сюда снопы.

Стояли теплые, солнечные дни. Сухая погода радовала «хлеборобов» с нашей улицы. Отовсюду доносился глухой перестук цепов, в воздухе стоял бус — урожайная пыль. На каждом дворе выросли кучи пшеницы, гречихи: кто что посеял.

У нас во дворе, понятно, просо. Гора с меня ростом. Отец — потный, в одной нижней несвежей рубашке — сидел на крылечке, мастерил самокрутку. Мать опустила голыми коленками на просо, по локти засунула руки в кучу.

— Батюшки, добра-то сколько!

— Вот, а ты говорила, — сказал отец.

— Ничего я не говорила, — оправдывалась мать.

— Ладноть.

— Ну, теперь перезимуюем.

— Крупорушку надо.

— У Ветровых есть.

— Там, поди, очередь, не даст.

— Я уж сама попрошу.

Мать сварила большой чугунок каши с маслом. Каша еще не допрела, а мы уже сидели за столом с ложками наизготовку, дружно повернув головы в сторону пытящего чугунок. И вот, наконец, мать, морщась, перебирая голыми пальцами по краям алюминиевой чашки, метнула ее на стол. Дружно, как по команде, звякнули ложки, сомкнувшись над чашкой. Гребанули по полной. Но не так-то просто есть горячую кашу.

Мать наставляла:

— Не жадуйте, успеете курсаки набить. Не берите изнутри. Сгребайте сверху, где остыла.

Сейчас назвал бы это грейдированием. Ложкой медленно ведешь по самой поверхности, собираешь остывшие крупинки. Ешь, ешь и наесться не можешь. Такая сладкая, вкусная каша! И, кажется, нет на свете ничего лучше, вкуснее, сытнее ее.

Люблю пшеничную кашу с той самой поры, когда мать сварила первый чугунок из своего пшена. Где бы ни был, при одном виде немудрящего блюда мне вспоминается та первая ложка с ароматной кашей, подернутой легкой желтоватой пенкой. Помню, может быть, оттого, что под просо на корове пахали, может, из-за порезанного пальца. А может быть, из-за того, что каша, пусть даже пополам с мякиной, по сравнению с лебедой и крапивой — царская еда?

Эта любовь пригодилась мне в армии. Сослуживцы мои, одногодки, всегда ныли при виде каши, а я радовался. Не понимал: или они совсем не помнили лихолетья, или их хорошо кормили. Но ведь мы жили вроде бы в одинаковых условиях, одинаково «воевали» в тылу. А вот поди ж ты, у них от каши была изжога.

Бачковой обычно ехидничал:

— Ну, Ванек, седни тебе опять посуду вылизывать.

Ребята, зная мою слабость, дружно подхватывали:

— Пусть лучше пузо лопнет, правда, Романов?

— Не пропадать же добру...

— Он, наверное, в детстве ничего слаще редьки не ел.

Я не обижался. Наемся и уж не кусочничаю, не бегаю в гарнизонный магазин за печеньем.

Никогда я не брезговал никакой едой. Так же и мои друзья детства: Васька Пирогов, Колька Елагин, Митька Ветров. Ростом, правда, мы не удались, морщины рано появились, и, как определила моя бабка Матрена, у нас была собачья старость: седина пробилась еще до того, как успели разменять четвертную. Но глаза у всех молоды, фигуры крепки, словно стальными обручами стянуты. А все, навер-

ное, потому, что мы в детстве на сто лет вперед наелись лебеды, крапивы, каши из «самодельного» проса.

Тогда, сорок с лишним лет назад, мы и знать не могли такого слова — «витамины», что их в нескольких листках крапивы — дневная норма человека. А мы ели ее ложкой, досыта.

Выходит, впрок наелись.

...В середине апреля, как только солнце выплавит в снегу плешины, от старых корней сразу же полезут первые побеги крапивы. Я осторожно нарежу полную тарелку верхковых стебельков, промою их, накрошу мелко-мелко и смастерю салат. Можно и борщ. На второе будет пшенная каша. Для крепости. Но сначала — крапива. Очень она полезна и хорошо освежает, не велит забывать нам, ровесникам войны, то нелегкое время.



*Михаил Пахомов*

## **ВСТРЕЧА С ПРОШЛЫМ**

*Из повести*

В раздольях южных склонов голубых Саян, над косматым кряжем сурового Танды и его изрубленными оврагами подножьями распольхалось знойное лето. Под жарким его дыханием сникли пышно разметавшие весной свои кудри цветистые поляны; поблекли, казалось, даже обрамлявшие их жизнестойкие березы.

Колхозники, рабочие госхозов, араты-единоличники выезжали на сенокос. В их становищах, у невеселых костров, даже в свободные от работы прохладные вечера не вспыхивали, как в минувшие годы, песни, не выходили на круг померяться силой борцы. Над всем как бы грозно нависла зловещая тень фашистского нашествия.

Радио и газеты во все поселки и кочевья скотоводов доносили мрачные вести. Совинформбюро сообщало: гитлеровцы подступали все ближе к самой Москве. Советский народ крепко сомкнулся в единый лагерь и дрался с вражеским нашествием насмерть.

В местных газетах был опубликован призыв аратской партии и правительства народной республики ко всему народу: всемерно укреплять оборону Советского Союза как общей социалистической Родины всех трудящихся, а значит, и тувинцев. И надо было видеть, каким жарким пламенем советского патриотизма откликнулись на этот призыв все, населявшие Туву.



Первым в газетах был опубликован отклик арата из Улуг-Хемского хошуна Кудаш-оола<sup>1</sup>. Он заявил: «...наш священный долг — всеми силами помогать матери-Родине и ее славной Красной Армии, чтобы сильнее, насмерть бить ненавистного врага. В виде безвозмездной помощи я передаю в дар советской кавалерии всех двадцать семь своих коней!»

В газетах — «Вперед» на русском и «Шын» — на тувинском языке — на первых полосах крупным шрифтом сообщалось, что арат Шири из самого отдаленного и высокогорного Монгун-Тайгинского хошуна, что граничит с советским Алтаем, в фонд обороны Родины подарил пять голов крупного рогатого скота и триста овец.

...Отпыхало зноем первое лето войны.

Двумя таежными трассами через суровые дебри Саян — в сторону железнодорожной станции Абакан непрерывными вереницами двигались живые дары скотоводов защитникам Родины: табуны упитанных лошадей для кавалеристов, тучные стада и отары крупного и мелкого рогатого скота — для продовольствия воинам и их семьям в тылу. В то же время в Кызыл стягивались обозы и караваны с кожевенно-меховым сырьем, шерстью, а в начале осени колхозники и араты-единоличники везли в фонд обороны многие тонны муки, масла, сухарей. Животноводческое сырье рабочие кожевенно-пимокатного завода и швейного комбината имени Расковой, работая в три смены, тут же превращали в валенки, полушубки, рукавицы. И уже в честь двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской революции в России и двадцатилетия Народной революции в Туве Генеральный секретарь аратской партии, генерал-лейтенант вооруженных сил республики Салчак Тока возглавил представительную делегацию тувинского народа, сопровождавшую на фронт первый эшелон подарков советским воинам.

...Перед рассветом, казалось, над всем миром висела непроглядная ночь. В звонкой тишине то и дело слышались будто стоны полуночного филина в декабрьской стуже — то звонко щелкал припорошенный инеем дорожный наст.

Быстро шагая по улице спящего города, Зазнобин то и дело мял рукавицей и обдувал дыханием, чтобы не ознобить, нос, щеки, подбородок. Мороз, казалось, пронизывал все тело и добирался до самого сердца. Торопливо заскочив на крыльцо дома, он бросил взгляд в голубизну неба. Оно показалось бездонным, и под его куполом без конца и края над Вселен-

---

<sup>1</sup> Повесть М. И. Пахомова построена на документальной основе, однако ряд имен и фамилий в ней, по различным соображениям, изменен. (Прим. автора).

ной распростерся водоворот перемигивающихся звезд; многие из них с наступлением рассвета угасали, и только утренняя да ближайшие их спутницы умирать не собирались; янтарно-светлые ее лучи энергично пронизывали бледную голубизну, собирались ласково встретить оранжевый, в изморози, диск солнца...

Дверь открыла порядком заспанная Марина. Встречать мужа с работы перед рассветом она уже привыкла, спросила только:

— Чаю попьешь сейчас или когда поспишь немного?

— Да какой уж теперь чай! Потом!— устало буркнул он, сбрасывая с плеч черненый полушубок.— Но часам к десяти разбудишь: пока не разбежались ребятишки — побалуюсь с ними. Ведь неделя уж, как не виделась!

— ...Вставай, папка!— будила Лара.— По радио сообщили, фашистов наши от Москвы отогнали окончательно!

— Да, папка, бьют их в хвост и в гриву!— радостно дополнил сообщение сестры Сергей.— Сыграть бы на радостях, пока еще мы с тобой дома!

— Правда, папа!— подала голос и младшая, Надя.— Давайте перед чаем споем что-нибудь веселое. Наша учительница вчера говорила, что каждую победу Красной Армии надо отмечать радостными песнями!

«Веселая троица», как полушутя называла ребят мать, с малых лет с помощью отца научилась бойко музицировать на струнных инструментах, слаженно пела и детские, и партизанские песни.

— Слышишь, как соскучились по тебе ребятишки?— сказала мать.— А что будет, когда уйдешь на фронт?

— И я с ним...— начал было Сергей, но мать уняла его с усмешкой:

— Сиди уж ты, Аника-воин!

Дмитрий поднялся с постели. Подходя к умывальнику, еще спросонок бормотал:

— Мороз-то звереет! Как и вчера... А про разгром фашистов под Москвой я еще с вечера знаю: сводку «В последний час» по радио для газеты принимал. Сегодня будет напечатана.

...В морозные дни начала февраля по улицам города к зданию Комитета советских граждан, к Дому культуры стекались крытые грузовики, в кузовах которых теснились будущие фронтовики, одетые в теплые полушубки, валенки, меховые шапки и рукавицы. Стекались и пешие горожане на прощальный митинг.

У Дома культуры было многолюдно. Зазнобин подошел к председателю Комитета советских граждан Иванову, кото-

рый о чем-то говорил с его шефом по работе в редакции Ананьевым, сухо поздоровался. Понимал, что они — такие же «броневики», как и он. Оставив их, Дмитрий побрел в толпу приехавших из районов призывников с намерением встретить кого-нибудь из родных мест: как там братишка? Хотелось поскорее узнать...

И вот он, Венка, долговязый, как отец, сам перед ним!

— Братка! Вот он я! Здравствуй! Меня, что ли, ищешь?

Братья обнялись. С шапок на их лица обильно сыпался колючий куржак.

— Что же ты не забежал к нам-то?— не выпуская из объятий будущего воина, жарко спросил старший.

— Да когда же было! Мы ведь только что приколесили! Вот на той пятитонке мотались. Мороз-то — жуть! А тут, как видишь — митинг. Когда закончится, отпустят ли — не знаю. Наверное, сразу «по машинам» скоман্দуют. А надо бы повида-ться, да и попрощаться на всякий случай.

— А как сестричка?

— Да их, сказывала, сюда примчат завтра.

— Ну, тогда ладно. Здесь и повстречаю ее, и провожу. А мама как?

— Плачет шибко. Слезами уливается и все тятю нашего вспоминает. На нас с сестренкой его судьбу все прикидывает...

— Да, плакать бедной не привыкать! Еще до революции порядком наревелась, отца-то ведь дважды на войну провожала. Потом, помню, сильно горевала, когда с Алтая сюда мы заколесили. Вся же ее родня там, в Сентелеке, осталась! А приехали сюда, и через каких-то три года ей пришлось про-водить своего Ивана насовсем...

Разговор братьев прервали. Иван Шустов — высокий, статный, настоящий атлет с темными вьющимися волосами и голубыми глазами, чернобровый, с орлиным носом, подошел к ним, а следом — учитель Петр Курченков. Шустов был радостно возбужден — его, до последнего времени работавшего в аппарате советского представительства, все-таки отпустили на фронт, — а Курченков возмущался: откладывают да откладывают, учебный год, говорят, закончи сначала... Он даже просил Зазнобина вступитья, на что тот невесело усмехнулся в ответ: самого не пускают, и не из-за учебного года вовсе...

— Ты, Дмитрий Иванович, если что, помоги моей Наташе, — обратился Шустов к другу. — Одна ведь остается, с тремя малышами.

— Не беспокойся, Ваня! — заверил Зазнобин.

Жену Шустова, Наталью Ивановну, они с Мариной считали как бы младшей сестренкой еще с тех пор, когда она, до замужества, учительствовала в Чал-Кежиге, а Зазнобин был там же председателем Комитета советских граждан.

— Все будет в порядке! Воюй хорошенько, о семье не беспокойся,— обнимая, напутствовал он друга.

С крыльца Дома культуры послышался голос Иванова. Он открывал митинг. Перед собравшимися на фронт ополченцами и их провожающими первым выступил с напутствием Сергей Иванович Жуков, затем военный комиссар республики Макаров, тоже уходивший на фронт, и в заключение — Генсек ЦК ТНРП, главнокомандующий вооруженными силами Тувы товарищ Тока.

И поехали в действующую Красную Армию первые посланцы республики за Саянами.

...Прошло полтора года военного лихолетья. Реки крови пролились на фронте. Тува, как могла, помогала советским воинам. Уже третий по счету эшелон с подарками был отправлен. Советский воздушный флот получил эскадрилью боевых самолетов, построенную на сбережения аратов, рабочих, служащих, даже школьников; пехота — колонну быстроходных бронированных автомашин. В три смены работал лесопильный завод в Кызыле, непрерывным потоком отправлял на фронт звенья на морозе березовые лыжи...

В знойном июне у паромной переправы через Улуг-Хем пожелал Зазнобин счастливого пути Петру Курченкову, которого после окончания занятий в школе все-таки отпустили на фронт. Крепче бить врагов наказал да возвращаться с победой.

И еще прошло больше года. И — новые проводы. ЦК аратской партии и правительство республики получили, наконец, долгожданное согласие Советского правительства принять от братского тувинского народа не только материальную помощь. И в сентябре сорок третьего года, в полном вооружении, отправился в ряды действующей армии эскадрон тувинских добровольцев.

В числе отъезжавших Зазнобин увидел своего односельчанина по Атамановке. Это был Ойдупа, близкий товарищ известного в республике партизана Билчира.

— Ну, здравствуй и до свидания, мой бывший однополчанин! — с ладонью у козырька, по-солдатски, приветствовал Ойдупа Зазнобина.

— Привет, привет тебе, теперь уже советский маадыр! — обнимая добровольца, восторженно отозвался Дмитрий. — Да ты и впрямь богатырь: в твои-то годы решил помериться силами с фашистскими захватчиками!

— А как же, товарищ Митька! Да я и не один из нашей с тобой деревни: всей семьей отправляемся бить фашистов! — и Ойдупа представил земляку трех своих братьев. — Все мы из колхоза «Заря коммунизма»!

— Вот и хотим, чтобы никогда не угасла наша Заря!— вмешался в разговор друзей Айыжы и крепко пожал руку бывшему односельчанину.

— Разобьем фашистов и — в свой колхоз! — в один голос завели младшие братья Ойдупы, Хуленмей и Седип-оол.

— Видишь, Митька, какие мы храбрые, — похвалил братьев с улыбкой, но не без горечи, бывалый партизан.

И показалось Зазнобину, что стал его бывший однополчанин еще выше ростом, чем был в тридцатом; и в плечах словно еще шире раздался, и большие глаза, карие с прозеленью, сверкали на его горбоносом да скуластом лице уже не озорством, как бывало прежде, — решимостью.

...И пошли письма. Больше — из госпиталей.

С Ленинградского фронта частенько писала Зазнобину сестра Настя. В одном из фронтовых треугольников сообщала, что работать в полевом госпитале трудно и смертельно опасно. Бывает, что на его расположение фашисты сбрасывают бомбы, бьют по нему из пушек. «Ведь должны же бы знать, гады, — возмущалась она, — что в госпитали попадают и раненые «фрицы», пленные. Но не щадят и их. Впрочем, сами ранбольные из пленных тоже ведут себя иной раз как цепные собаки: всячески издеваются над медперсоналом, плюют, как озверелые верблюды, даже срывают повязки!..»

Из госпиталя в Краснодаре писал Петр Курченков, артиллерист, тяжело раненный в бою. Приходили письма и от Ивана Шустова, на богатырском теле которого появились тоже, как он выражался, «отметины». Откуда-то из-под Воронежа однажды прислал коротенькое письмо и Вениамин:

«Здесь, дорогой брат, — писал он, — жутко: фашисты атакуют нас танками, бомбят и обстреливают с самолетов. А отступать нам никак нельзя. Обороняемся, как можем. Многие мои однокашники погибли. А меня пока смертушка обходит. Надеюсь, что до нашей Победы доживу!»

Писали и другие односельчане, бывшие колхозники из Чал-Кежига. После длительного перерыва прислал письмо с фронта и знаменитый в Туве партизанский вожак Сергей Кузьмич Кочетов: «...Тяжело ранен, нахожусь в госпитале. Но демобилизовываться не собираюсь. На бой с фашистами из Москвы я уходил добровольцем. Таких «молодцов», как я, уже не призывали. А вот сына нашего взяли, и вскоре Оле, уже без меня, принесли похоронную. Да разве могу я после этого уйти с поля боя, пока не расплачусь сполна с фашистами за нашего Володю?!»

Зазнобин знал, что сын у Кочетова был приемным, взят в семью в трехлетнем возрасте, но хорошо понимал и отцовскую скорбь, и гнев.

«А война, Митя, — писал дальше Сергей Кузьмич, — теперь не то, что было когда-то в Туве. В Тарлашкыне, скажем,

где погиб твой отец, или под Атамановкой. Там ведь мы раз-  
делали врагов под орех и потерь почти не имели. А здесь...  
Страшно подумать! Но мы все равно победим».

«Передай тувинскому правительству и лично товарищу То-  
ка мое огромное спасибо, что нашу деревеньку назвали Коче-  
тово»,— просил он в письме.

Как-то принесла в редакцию пачку писем с фронта, от  
мужа и трех своих сыновей, женорганизатор одной из двадца-  
тидворок Кызыла Елизавета Степановна Дудина.

— Посмотрите!— сказала она Зазнобину.— Если годится,  
напечатайте. Хорошо ведь воюют мои соколы! И мы в меру  
сил помогаем им отсюда,— и она показала квитанции на от-  
правленные фронту посылки.

...Еще летом сорок третьего года семье Зазнобиных при-  
шла черная весть: «Вениамин Иванович Зазнобин... при вы-  
полнении боевого задания пал смертью храбрых». Сестре  
Насте на фронт Дмитрий о похоронке не писал: вернется—  
узнает... А сестра и в последнем письме, уже в Советскую Ту-  
ву, в мае сорок пятого года, спрашивала о судьбе Вениамина:  
жив ли? Почему не пишет?

«В День Победы,— писала Настя,— наш госпиталь нахо-  
дился на территории Германии, в местечке Обер-Глагац. Ра-  
неных было немного. Помнится, один особенно был в тяжелом  
состоянии, долго не приходил в сознание, а когда очнулся,  
узнал, что война закончена, навзрыд плакал и просил, чтобы  
помогли ему выжить!...»

...Только начинался путь домой фронтовички Насти, а в  
семье ее брата встретили уже другого желанного гостя. При-  
мерно за месяц до Победы, после продолжительного лечения  
в госпиталях, явился из Москвы Сергей Кузьмич Кочетов.  
Вожак Красной гвардии восемнадцатого года и главоверх  
партизан в годы гражданской войны в Туве, отвоевавшись в  
Отечественной, майором в отставке возвратился в родное За-  
саяньск навсегда. Приехал с той же любимой Ольгой, которая  
еще в грозные годы гражданской стала для него верной бое-  
вой подругой.

Временно поселились Кочетовы в семье Зазнобиных. Ма-  
рина была несказанно рада, и семерым в двух комнатах и на  
кухне не казалось тесно.

Как-то Сергей Кузьмич стал подсчитывать:

— К двум ранениям, которые получил еще здесь, в Тар-  
лашкыне, на этой войне я схлопотал еще три: осколком мины  
немцы продырявили мне грудь, малость покалечили руку, а  
ногу, считай, напрочь отломили! Ведь какие дикари эти нем-  
цы?! Им же еще в первую мировую войну мы крепко надава-  
ли по соплям, а они через столько лет снова попытали «сча-  
стья»— вломиться в наш дом! Да и опять им не повезло!

В такт речи Кочетов постукивал об пол костылем, чуть-

чуть бледнел; казалось, еще сильнее обострялся его тонкий нос, сердито метались голубые острые глаза, на высоком лбу с глубокими залысинами выступали капельки пота; его израненная грудь прерывисто дышала, и на ней еле слышно позвякивали ряды орденов и медалей, среди которых был и орден Тувинской Народной Республики.

Однажды Кочетов радостно сообщил:

-- Собираюсь в Атамановку! Сам товарищ Тока предложил мне машину, чтобы побывать в своей деревне, теперь уже по-настоящему своей --- названа же моим именем! Надеюсь, Мить, ты составишь мне компанию?

-- Да какой может быть разговор --- конечно! --- обрадовался Зазнобин.

-- А почему бы, дядя, не взять тебе с собой и племянницу? --- показала из кухни хлопотавшая там, как всегда, Марина. --- Ведь деревня-то и моя: жила в ней с пятилетнего возраста!

-- Верно, Сережа! --- откликнулась Ольга Григорьевна. --- Возьми ее, да и своего молодого тезку. А мы с девушками уж тут подомовничаем.

Ольга Григорьевна все военное лихолетье провела в Москве, строила на подступах к городу оборонительные сооружения, потом, получив известие о гибели сына, долго болела и так исхудала, что в Кызыле ее, когда-то в меру полную смуглянку, узнавали не сразу.

Услышав предложение жены, Сергей Кузьмич кивнул, что согласен, с любовью посмотрел на зазнобинских домочадцев. Старшая из них, Лариса, ответила на его выразительный взгляд задорным и радостным блеском глаз за стеклами очков, как бы говоря: «Да почему бы вам не взять с собой и меня? Родилась же в той деревне!» Семнадцатилетний Серега уже собирался в дорогу и ликовал:

-- Хоть и не бывал я с вами на войнах, но в детстве играть в войну приходилось, в красных и белых. Так что в эту деревню поеду с радостью! А там, может, папка, на Элегесте и порыбачим?

Голубой цековский лимузин перенес компанию через печаные взгорья, потом --- холмистым берегом речки Элегест, миновал старый межегейский мост и уже разомлевшее атамановское болото; гости оказались почти у самых подножий Танды, где дремала неустроенная еще колхозная деревня Кочетово.

А вот и родная школа! Строили ее в начале двадцатых бывшие деревенские партизаны во главе со своим командиром-плотником и молодые ребята с девушками, среди которых были и нынешние Зазнобины --- Дмитрий и Марина... Не видно было только физкультургородка --- видать, разрушился, не до него было в войну...

К школе со всех сторон стекались взрослые и дети, мужчины и женщины; каждый понимал, что на такой машине мог прибыть только кто-нибудь из городского начальства. И тот, кто прибыл, непременно расскажет, как праздновали Победу, как теперь отстраивается Советская Родина, скоро ли вернутся с фронта долгожданные...

Первым, кого узнали присхавшие из города, был, конечно же, Оюн Билчир. Хоть и поблекло его прежде цветущее лицо, и в ровном когда-то ряду белоснежных зубов зиял темный провал...

— Здравствуй, здравствуй, красногвардейский воин и мой лихой разведчик!— радостно воскликнул Кочетов, ковыляя с бадожком ему навстречу.

Билчир тут же признал в майоре своего командира да так и замер на месте. От волнения у славного когда-то на хуреше борца началось астматическое удушье...

— Менди-и, дарга!— по старинному обычаю касаясь земли в глубоком поклоне, поздоровался Билчир и, распрямившись, обнял изувеченного командира.— А я думал: кто бы это мог пожаловать к нам? Уж не сам ли товарищ Тока?— часто переводя дыхание, говорил он.— А выходит — вон кто!

Ветераны присели на ступеньки школьного крылечка. В это время на площади появилась Майылбаа. Узнав милую Дуню, как называли атамановцы смолоду дочь старого Сергелена, Марина пошла ей навстречу. Потолковать про жизнь-бытье у бывших соседок желания накопилось много: не виделись почти двадцать лет!

Вдруг в калитке показался высокий да широкоплечий, в военной гимнастерке, солдатской пилотке, тяжелых кованых ботинках; на горбоносом лице бывалого вонна метались сполохи радости и недоумения.

Старший Зазнобин тут же пошел ему навстречу и, не доходя, приветствовал:

— Эки-и-и, маадыр!

— Эки, эки, сарым, милый ты мой,— ответил Ойдупа. Это был он, один из тех двухсот тувинских добровольцев.

— Ну, как повоевалось, однополчанин?— спросил Зазнобин.

— Давай-ка, дарга, сначала закурим... А кого это ты к нам привез?— он кивнул на крыльцо.

— Так Кочетов же это! Не узнал?

— Наш партизанский командир? Да как же узнаешь его? Совсем уж облысел, и с костылем! Познакомь, товарищ Зазнобин. Ведь меня-то он, должно быть, не помнит: когда воевали здесь, я был мальчишкой, да и уехал он от нас давненько.

— Успешь, познакомлю. Да расскажи, наконец, как воевали-то вы?



— Так что же: повоевали и мы. Об этом же в газетах много писали. Главное — одержали Победу! — гордо и скромно отвечал Ойдупа. — Жаль, брату моему Айыжы домой возвратиться не пришлось: угадал в окружение фашистов и, чтобы не оказаться в плену, подорвал себя и врагов противотанковой гранатой...

Тяжело был ранен и второй мой брат, Хуленмей. Привезли его домой. Но выживет ли — не знаю... А самый младший из нас, Седип, уже работает в нашем колхозе табунщиком. Вся грудь в боевых орденах да медалях! Хорошо воевал. До Праги дошел. Но теперь все. Никто на нас больше не полезет — ни кулаки, ни феодалы, как бывало, в тридцатом!..

— Так, товарищ Ойдупа, так, дорогой мой! Куда им теперь? Оба мы с тобой братьев потеряли, и не мы одни, но этой ценой разгромили самого лютого зверюгу — фашистскую Германию! Те, в тридцатом, в сравнении с ней были жалкие грызуны, вроде сусликов. Кто же теперь посмеет поднять разбойничью руку на завоевания нашего советского народа? А если кто и посмеет — получит отпор! — убежденно закончил Зазнобин.



*Сергей Баур*

## **НЕ ЗАБЫЛОСЬ ИМЯ ТВОЕ**

В начале сороковых годов у тувинцев, говорят, мало было русских имен. Только начинали появляться необычные, звучные и странные — Алеша, Ваня, Миша, Галя.

А я родился в октябре, в год Сталинградской битвы, в грозном сорок втором. И имя мое связано с этим героическим городом на Волге.

Русская женщина-врач принимала у моей матери роды. Через несколько дней мать заметила, что обычно веселая и общительная эмчи выглядела очень грустной. Мать вежливо спросила:

— Что с вами, эмчи?

— Да, вот... Видите ли... Письмо получила от матери. Мой родной брат погиб в Сталинграде.

Мама помолчала, сочувствуя:

— Простите, а как его звали?

— Сережей, Сергеем.

— ...Красивое имя! Сережа, Сергей-оол. Можно, я назову сынишку в честь вашего брата-героя?

Женщина благодарно улыбнулась и тепло обняла свою пациентку.

Об этом вспоминала моя мать много времени спустя. Сорок лет прошло с тех пор, а я мысленно все благодарю того русского солдата, что оставил мне свое имя.

## **БОЕВЫЕ ЛОШАДИ УНОСИЛИ ВАС...**

...Ветер времени занес в огненные двадцатые годы в древний Урянхай молодых хлопцев-красноармейцев, чьи тела погребены в братской могиле у Енисея. Имена их золотыми буквами вписаны вobelisk:

Сопов Кузьма  
Тарасюк Фома  
Воник Карп  
Саханько Иван  
Шмидт Антон  
Водолеев Александр...

Герои Фурманова, Островского, Фадеева сделали свое дело на Украине, на Урале, в советском степном Баджее и сложили отчаянные головы в Белоцарском бою.

Здесь, в Туве, нашли они свою Гренаду, и каждую весну к памятнику с пятиконечной звездой тихо склоняются белоснежные тувинские черемухи.

И все-таки, где же «запрягали хлопцы коней», какая мать их провожала?

...Уходили, расставаясь,  
покидая тихий край..

Ветер времени занес в пламенные сороковые годы лихих кавалеристов-тувинцев на многострадальную Украину. Как бы приняв эстафету от героев Белоцарского боя, потомки 60-ти богатырей не дрогнули перед «фердинандами», «тиграми» и «пантерами».

Получили черные вести — похоронки из Деражно, Сурмичей и Дубно немало тувинских семей. Братство рожденное в грозные годы революционных битв, закалилось в огне суровой Отечественной...

Сегодня на улице Тувинских добровольцев в городе Ровно, как каждую весну, цветут украинские каштаны.



## ЖИВОЕ ПРОДОЛЖАЕТ ЖИЗНЬ

Повесть

Педагогам и воспитанникам Кушвинского  
детского дома с любовью посвящая.

### Легко ли знать горестную правду?

Четыре года назад Зину из дошкольного детского дома «Лесная дача» привезли в школьный. Нынешней осенью она пошла учиться в четвертый класс.

Под утро Зине приснился сон. Будто бы мама, раскинув руки, зовет: «Доченька, иди ко мне! Иди, иди...» Где-то в глубине сознания ворочается мысль: «Это же няня Оля из дошкольного детского дома. Вот и песня ее любимая слышится:

Меж высоких хлебов затерялося  
небогатое наше село.  
Горе-горькое по свету шлялося  
и на нас невзначай набрело.

Зине видится это «горе-горькое». Оно огромное, черное и заслоняет маму от нее. Зина хочет бежать к протянутым маминым рукам, но окаменевшие ноги не дают ей сделать и одного шага. С трудом выдыхая из себя воздух, Зина мечется и, горестно заплакав, просыпается.

Около ее кровати стоит Назька и спрашивает:

— Ты чего брыкаешься и плачешь? Страшный сон увидела!? Да?

— Нет, не страшный,— шепчет Зина и думает: «Хоть бы во сне, один разок в жизни обняла меня мама».

Зина, сидя на уроках, все думала — как бы ей попасть в кабинет директора и остаться там одной всего на несколько минут.

После обеда по всему детскому дому началась генеральная уборка. Тихий час отменили. Это обрадовало ребят — спать, как маленькие, днем немногие любили. От выхлопанных на дворе одеял и выбитых матрасов приятно пахло свежестью и холодком. Зина, неся свой матрасик в спальню, твердила себе: «Сегодня я должна узнать все. Должна узнать...» Она слышала от старшеклассниц, что личные дела воспитанников хранятся в большом шкафу в кабинете завуча. Зина вместе с Назькой попросилась у воспитательницы «генералить» кабинет завуча. «Молчунья меня не выдаст»,— думала она о Назьке.

Набрав воды в ведра, взяв пылевые и половые тряпки, девочки вошли в небольшую комнату, где обычно занимались

завуч и воспитатели. От лучей зимнего солнца, льющихся через окна, в кабинете было светло и празднично.

— Иди, постой в коридоре, постереги меня,— говорит Зина Назька.

— Зачем это?

— Потом расскажу,— обещает Зина.

Как только закрылась за подружкой дверь, Зина открыла дверку громоздкого шкафа и стала читать надписи: «Так — третья группа, а вот и четвертая». Зина нашла папку с надписью: «Личное дело № 180 Сирновой Зинаиды». Трепеща и замирая, Зина открыла папку и шепотом прочитала: «1 августа 1932 года на станции Камышлово был найден в корзине младенец женского пола...»

Что-то ненормально тяжелое, удушливое охватило девочку, и тугой комок стал сдавливать и сдавливать ее горло.

Вдруг дверь открылась.

— Лариса Власьевна идет,— тревожно сказала Назька, входя.

Зина, отчужденно глядя на подружку, положила папку на место и затворила дверку шкафа.

— Что ты тут искала?— спросила Назька.

Зина молчала, глядя в окно. Назька, выглянув в коридор, успокоила:

— А Лариса Власьевна ушла в среднюю группу.

— Зина, ты же мне обещала... Ну, скажи, скажи,— помолчав немного, стала просить девочка.

— Я? Я читала свое личное дело,— шепчет Зина. И, внезапно зарывав и прижимаясь к косяку окна, она выдыхает с горечью:— Подкидывш я. Подкидывш. Бросили меня. Бросили. Понимаешь? Бросили... на станции Камышлово.

— Не реви, не реви так громко, а то услышат. Ну, чего ревьешь? Мы все здесь без родителей,— успокаивает Зину Назька.

— Ваших убили на войне, а меня бросили, бросили...— не понимает Зина. Издалека, из большого зала послышался голос дежурного по столовой: «Первая смена, на ужин! На ужин!»

— Зина, а ты выучись на кого-нибудь и съезди на эту станцию... ну, как ее?

— Камышлово,— всхлипывая, произносит Зина.

— Вот, вот, Камышлово.

— Ну, зачем я туда поеду? Зачем?

— Может быть, там найдешь свою маму.

— Как же, найдешь,— обреченно шепчет девочка, и нижняя губа ее начинает подрагивать.

Но в это время в кабинет заходит Лариса Власьевна, и Зина, низко опустив голову, старательно вытирает половицы тряпкой.

— Какие вы молодцы, девочки! Чисто прибрали. Хорошие хозяйки из вас выйдут,— говорит директор.

После ужина все девочки четвертой группы, придя в спальню, обступили голландскую печку, от которой исходило приятное тепло. Морька Омутова пришла позже всех: Став перед девочками, она затараторила: «А я что-то знаю! А я что-то знаю!» Все с любопытством ждали, что она скажет, но Морька медлила. Наконец, Морька таинственно и значительно произносит:

— Завтра привезут ленинградских ребят из блокады.

— Откуда ты узнала? Откуда?

— Я слышала, как повару Лариса Власьевна сказала: «Тетя Маня, с завтрашнего дня готовьте еды на двадцать человек больше. Из блокады детей привезут. Да постарайтесь для них повкуснее что-нибудь приготовить».

Близилась ночь. Около девяти часов вечера, монотонно повторяясь, понеслось по всему детскому дому: «Отбой, отбой! Спать! Спать!»

Вот и в четвертую группу пришли дежурный воспитатель и ночная нянечка — Анна Михайловна.

— Все на месте,— говорит воспитательница и проверяет, правильно ли девочки повесили свою одежду на спинку кровати.

Повернув выключатель, воспитательница и нянечка уходят.

## **Ночной разговор**

Темень слепляет глаза, хочется спать, но Назька слышит шепот Зины:

— Пойдем к нянечке на диван?

— Наверно, еще дежурная не ушла домой. Подождем маленько,— отвечает шепотом Назька.

Сонная тишина разливается по всей комнате. Проходит минут десять... Обе подружки, чтобы никого не разбудить, крадучись на цыпочках, выскальзывают за двустворчатую массивную дверь. В большом зале полумрак. Девочки, неслышно ступая по некрашеному полу, идут к дивану, на нем, сгорбившись, сидит ночная няня. Плечи и спина няни прикрыты шалью. Няня вяжет варежки. Медленно мелькают спицы, нитка разматывается с клубка, подпрыгивающего на полу.

— Опять полуночищаете?— спрашивает Анна Михайловна. Назька и Зина проворно устраиваются на диване, поджав босые ноги под себя. Взглянув на девочек, няня участливо спрашивает:

— Зинушка, что с тобой стряслось? Ты вроде как не в себе.

Девочка мгновение молчит, а потом дрожащим голосом выговаривает:

— Няня, меня бросили, мама бросила...

— И кто тебе посмел такое сказать?!

— Я сама, сама узнала... в личном деле...

— Да, нескладно получается. Да ты не коченей душою-то, не коченей, горькая ты моя. Среди людей, чай, живешь...

Но, перебивая нянечку, Зина спрашивает:

— Ну, почему? Почему она меня бросила? Что я, хуже всех, что ли?

— Да полно, звонкая ты моя! Полно! Ты ведь у нас отличница. И душа у тебя, словно родничок,— чистая. Угомонись, не терзай душу-то свою,— обнимая девочку, уговаривает няня.— Я тоже осиротела рано, а вот, видишь, выжила. Уж внуки по земле ходят. Норовят бабушку перерастить,— улыбаются.

— А почему вы осиротели, баба Аня?— прижимаясь к боку нянечки, спрашивает Назька. Перестав вязать и глядя в темноту окна, Анна Михайловна повела свой рассказ:

— Мама моя от тифа умерла. Остались мы с отцом вдвоем. Переехали из города в деревню. И квартировали мы там у бабушки Агафьи. А времена смутные, тревожные были. Белые банды кружили по лесам. Как-то раз, раненько поутру, раздались выстрелы. Послышался конский топот, истошные крики. Отец схватил меня с полатей и затолкал в трубу русской печки. Прочно поставил мои ноги на выступы кирпичей и сказал: «Молчи, Аннушка, и стой так, пока бабушка Агафья тебя не вытащит отсюда. Бандиты налетели». Только успел он это сказать, как распахнулась с грохотом дверь в избу и кто-то приказал: «Обыскать!» Загрохотали приклады винтовок по сундукам, по деревянной кровати. Слышу, заслонку в русскую печь открывают. «Пожрать бы»,— говорит один. «Коммуния, жратвы, и то нету»,— возмущается другой. Мне страшно, вся дрожу, а плакать боюсь. Бабушка Агафья причитает: «Упаси нас, господи! Упаси...» Хлопают двери в сенки, во двор. Через некоторое время пришедший со двора говорит: «Вашбродие, никого нет. Только вот етот сельсоветчик...»

— Увести вместе с теми, за поскотину,— приказал «вашбродие».

— Ну, значит, прощевайте,— глухо говорит мой папка, и дверь с шумом захлопывается.

Я очень устала стоять в трубе, да и за папку мне страшно. «Бабушка, бабушка»,— позвала я. Бабушка Агафья подошла, ухватила меня за ноги и вытащила из трубы. Кинулась я было к двери, да бабушка не пустила меня. Вскоре за поскотиной захлопали выстрелы. И осталась я совсем сиротой. Да бабушка Агафья, спасибо ей, вырастила, выкормила меня.

Не успела няня сказать последние слова, как на лестни-

це, идущей снизу, из столовой, раздались шаги. А потом послышался ровный голос Ларисы Власьевны:

— Анна Михайловна, вы опять перед сном детям рассказываете страшное?..

Девочки мгновенно соскользнули с дивана, и их уж и след простыл.

### **А дистрофия — это страшно?**

На другой день по всему детскому дому разнеслось: «Блокадных привезли! Блокадных привезли!»

Всем хотелось непременно, и как можно скорее, увидеть ленинградских ребят. Воспитатели разрешили идти встречать приехавших только старшеклассникам. Назька еще не была старшеклассницей, но она, накинув на голову серую суконную шаль, торопливо сбежала по ступенькам парадного крыльца и вдруг, замедляя шаг, остановилась. В кошевке, укутанный в тулуп, полулежал человек. По ушанке, одетой на его голову, девочка поняла, что это мальчик. Лицо его было страшным от худобы, а синие глаза огромны. Дед Егор, детдомовский конюх, без малейшего усилия поднял мальчика на руки и понес в кем-то уже открытую парадную дверь. Старшеклассники раскутывали сидящих в тулупах ребят и ставили на притоптанный снег. Держа друг друга за руки, словно боясь потеряться, дети пошли в большой, светлый дом.

— Какие худющие-то,— заголосила было повариха. Но на нее так взглянула Лариса Власьевна, что та, враз смолкнув, прикрыла глаза концом головного платка и затряслась от беззвучного плача. Медленно и молча шли приехавшие ребята к высокому парадному крыльцу. Перед ступеньками они замешкались. И взрослые, и воспитанники кинулись к детям и занесли их на крыльцо. Лариса Власьевна обнималась с худой чернобровой женщиной, называя ее Ольгой Максимовной. У обеих по щекам текли слезы. Директор повела ленинградскую воспитательницу к себе в кабинет. «Новеньких» отвели в заранее приготовленные две комнаты. «Ходить к ним нельзя — несколько дней они будут на карантине»,— сказала воспитанникам фельдшер.

Вскоре понесли ленинградским ребятам обед. Коридор и зал опустели. Только Назька не уходила, все ждала деда Егора. Когда он вышел, девочка бросилась к нему:

— Дедушка Егор, как зовут мальчика, которого вы несли?

— Сашей зовут его, Сашей.

— А почему он сам не шел?

— Ослаб он от дистрофии. Ослаб,— вздыхая, отвечал дед.

— Почему ослаб?— выпытывает Назька.

— Мама его умерла в блокаде от голода. Саша остался один. Его нашли больного в холодной квартире комсомольцы

и принесли в эвакуопункт. Распроклятое это дело — голодуха, доводилось мне хлебнуть ее,— бормочет дед.

— А почему его в директорскую отнесли?— допытывается девочка.

— В больницу его определяют.

— В какую больницу? Зачем?— удивляется Назька.

— Да вот, рядом с детским домом, больница-то. В нее и понесем Сашу. Лечить его будут там. Охо-хо,— сокрушенно вздыхает дед.

На другой день, после уроков, Назька и Зина договорились пойти проведать Сашу. У дежурных по кухне они выпросили печеной в духовке картошки. Из двора детского дома, по тропинке, ведущей к дыре, зияющей в заборе, девочки прошли к небольшому больничному зданию. Вошли в коридор. На табуретке у тумбочки сидела в белом халате бабушка.

— Здравствуйте,— сказали девочки.

— Здравствуйте, здравствуйте, касатки. К кому пришли?

— К Саше,— проговорили обе девочки.

— К ленинградскому-то?— внимательно посмотрев на подружек, спросила старая женщина. Она была дежурной, принимала передачи для больных.

— К нему. Вот тут печеная картошка. Пусть кушает.

— Что вы, что вы, касаточки! Да он ничего не ест. Ничего. Вчера дохтур спрашивает его: «Саша, что бы ты хотел покушать?» Саша помолчал, а потом сказал: «Жареной картошки». Быстрехонько принесли ему жареной картошки. Да не смог он, горемычный, есть ее,— вздыхая, говорит дежурная.

— Почему, почему не смог?— в один голос воскликнули подружки.

— Дистрофия у него. Последней стадии дистрофия. Ссохся у него желудок-то, ссохся от голодухи. И не принимает больше никакой пищи. Вянет, никнет Сашок. Отжил, видно, не пожив на белом свете,— заключает бабушка.

Девочки недоумевали: «Почему Саша не может кушать? Почему?»

— Вот что, касатки, ступайте-ка домой. А то дохтур увидит вас — почнет меня ругать,— поднимаясь, решительно потребовала бабушка.

Не долго пожилось Саше. Унесла его смерть. Взрослые решили, что ни к чему детям идти на кладбище.

— Рано им еще... И так их детство искалечено войной,— сказала Лариса Власьева.

Была у ребят прежде дурная привычка — обзывать. И если хотели кого-то сильно обидеть, то дразнили: «Дистрофик, дистрофик». После смерти Саши это слово исчезло из ребячьего языка. Исчезло, будто и не было его совсем.

Прошло время карантина, и ленинградских ребят распределили по группам.



## Зинина тайна

Зина собирала и копила лоскутки цветных тряпочек-обрезков. В тайне от всех она сшила тряпичную куклу. Ее она прятала в тумбочку за аккуратно сложенные стопки книг. Там и «жила» Зинина кукла. Девочка звала куклу «доча Рита». И играла с ней только тогда, когда никого не было в группе. Прижимая куклу к сердцу, Зина пела: «...Горе-горькое по свету шлялось и на нас невзначай набрело». При этом «горе-горькое» она выделяла так, как это делала няня Оля из дошкольного детского дома. А потом, качая куклу, Зина тихонько выводила: «Ну, не плачь! Не плачь, моя родненькая! Я тебя никогда и ни за что не брошу!»

После смерти Саши Зина, баюкая куклу, пела:

Ля-лю, ля-лю, ля-лю, ляй.  
Спи, дочурка Рита.  
Ля-лю, ля-лю, ля-лю, ляй.  
Кушай хлеб досыта.  
Ля-лю, ля-лю, ля-лю, ляй.  
Спи, не знай блокады.  
Ля-лю, ля-лю, ля-лю, ляй.  
Солнышку мы рады.

## Отверженных быть не должно

Миновала зима. Весеннее солнце согревало и землю, и ребят. Стали ходить воспитанники детского дома работать на подсобное хозяйство. Как-то раз возвращались девочки домой. Шли берегом большого пруда. Впереди всех — Валя Сабирова. Всю эту неделю она сторонилась девчонок. Поругалась с ними. «А все из-за него, из-за брата», — думала она. Вовка, ее брат, уже три раза убежал из детского дома... Его всякий раз находили и привозили в детский дом. После третьего побега Ирина Сергеевна надела на Вовку длинный, до полу, халат и поставила беглеца у зеркального трюмо в большом зале. Малыши побоевой издали, не подходя близко, дразнили Вовку: «Володька-беглец, отыскался, наконец».

Когда Вале сказали, что ее брата одели в девичий халат, она, покраснев, решительно заявила:

— Вовсе он мне не брат. У него фамилия Сабуров, а у меня Сабирова.

— Ой, ой, — закричали девочки, — от родного брата отказывается!

Валя ушла в коридор и, стоя у окна, горько плакала.

К Вовке, разогнав малышню, подошел Валин одноклассник Петро и спросил:

— Ты чего все сбегаешь, Володя?

Вовка секундочку помолчал, а потом сказал:

— К папке хочу.

— А где он?

— На фронте,— тихо ответил Вовка.

— Ты вот что, не убегай больше... Ведь все равно поймут. А папка твой, как кончится война, сам за тобой придет. Не убегай, ладно? А то отец придет за тобой, а тебя нет. Ну что, договорились?— спрашивает Петро.

— Угу,— бурчит Вовка.

В это время к ребятам подошла Лариса Власьевна и, взяв Вовку за руку, увела его в группу. Оттуда мальчик вышел в брюках и рубашке. Халат директор унесла в кабинет завуча.

Вале до сих пор стыдно, что тогда отреклась от брата. Вот и идет она с подсобного хозяйства одна — вроде как и не нуждается ни в ком. Увидела Валя: лежит в сыроватой ямке редька или брюква — не поймешь, что. Подняла она корень, достала самодельный ножичек и принялась срезать кожурку. Подошли к Вале девочки, видят, чистит она брюкву, а очистки падают на землю. Девчонки подобрали их и съели. Одна очистка досталась и Назьке. Она съела ее. «Сладковатая кожурка, да мало»,— подумала Назька. А Валя по тонюсенькому пластику отрезала двум близким подружкам. Остальной корень, отстав ото всех, съела сама. А позади всех, с отставшими девчонками, шла Ирина Сергеевна и распевала частушку:

Жила-была бабушка в тепленьком местечке.  
Захотелось бабушке искупаться в речке.  
Бабка ушлая была, купила пуд мочала.  
Вот и песня наша вся. Все! Начинай сначала.

Девочки подхватили частушку и пели ее, пока не дошли до первых домов городка. А Морька озорно нашптывала подружкам: «Ирина — мочало, мочало!» И пристало это прозвище к Ирине Сергеевне. Вроде так и надо.

Придя домой, девочки сели учить уроки. В учебной комнате было тепло и тихо. Вдруг Валя упала на пол, руки и ноги ее задергались, зрачки глаз закатились, а изо рта пошла пена. Девочки с воплями побежали вон... Зина и Назька, нарушая непоколебимое правило детского дома — не бегать, кинулись со всех ног в директорскую. Вбежав в кабинет директора, они закричали:

— Валя умирает!

— Где она?— волнуясь, спросила Лариса Власьевна и, послав девочек за фельдшером, очень быстро пошла в групповую комнату. Прибежала фельдшер, и директор тут же вышла в зал и велела позвать деда Егора и завуча. Скоро пришли и дед, и завуч. Валю положили на одеяло, и двое взрослых понесли ее в больницу. Девочка билась, кричала и была такой сильной, что с ней еле справлялись. Вскоре из больницы возвратилась фельдшер и сказала директору: «Отравление цикутой». Всех девчонок, ходивших на подсобное хозяйство, собрали в кабинете директора.

— Девочки, Валя отравилась цикутой. Это такой корень ядовитый. Кто съест — может умереть. Скажите, кто из вас тоже ел цикуту? — спрашивает Лариса Власьевна. — Скажите, не бойтесь...

Но все молчали.

— Девочки, пожалуйста, скажите, кто еще ел цикуту? — умоляет и фельдшер.

Подружки Вали, захныкав, признаются:

— Мы съели по крошечному пластику.

Обеих девочек увели в больницу.

— Девочки, кто еще ел? Кто? Да не бойтесь, ничего страшного в больнице с вами не будут делать. Только промоют желудок и все, — объясняет Лариса Власьевна.

Еще трое признались, что съели кожурки. И этих троих тоже увели в больницу. А Назька молчала. К ужину все девочки, уходившие в больницу, вернулись, кроме Вали. После ужина Назька пошла в спальню, легла в постель и, в напряжении, стала прислушиваться к своему организму. Она в страхе ждала, что вот-вот начнется это самое страшное — смерть. Но вскоре спастельный сон охватил сознание девочки, и она уснула. А наутро Назька и думать не думала о том, что произошло вчера.

На другой день Морька играла с первоклашками под окном директорского кабинета в «магазин». Девочки «покупали» у Морьки слепленные из глины крохотные булочки «хлеба». Морька за хлеб брала бумажки, которые и «продавец», и «покупатели» называли деньгами.

— Чья очередь, кто следующий? — важно говорила она. Но вдруг насторожилась — из окон Ларисы Власьевны послышался шум. Морька приставила указательный палец к губам, чтобы ее «покупатели» затихли. А из открывшегося окна слышался голос директора:

— Ирина Сергеевна, я должна была это сделать еще раньше. Мои беседы с Вами не пошли на пользу делу. Неужели Вы не понимаете, что отверженных детей не может быть?! Не может! А Вы не жалесте детей, не следите за ними. А они сироты! Все, Ирина Сергеевна, идите. Больше в детском доме Вы не работаете.

Ирина Сергеевна плакала и что-то невразумительное бормотала в свое оправдание.

Морька бросилась в свою группу и, вбежав в комнату, озорно закричала: «Долой Мочало, долой Мочало!» Девочки, недоумевая, смотрели на Морьку. Тогда она сообщила:

— Директор Ирину Сергеевну сняла с работы.

Нелька настороженно, недоверчиво посмотрела на Морьку и подумала: «Правда ли это?» И действительно, «Мочало» больше не появлялась в детском доме.

А Валя пришла из больницы только через месяц.

## Не смей обижать людей

Как-то после отбоя девочки, лежа в постелях, разговорились.

— Вот кончится война, и за мной придет мама,— мечтает вслух Оля, самая маленькая ростиком в группе.

— А моя мама никогда за мной не придет,— печально вздыхая, говорит Бася.

— А почему?— спрашивают девочки.

— Когда немцы подошли к Кишиневу, мы вместе с другими беженцами ушли из города. А народу по дороге шло видимо-невидимо. Вдруг послышался гул самолетов. Самолеты все ближе, ближе. Все люди побежали. На поле и на дороге были воронки. В суматохе я отстала от мамы и младшей сестренки. Мама махала мне из воронки. Тут кто-то из беженцев схватил меня на руки и скатился вместе со мной в другую воронку. И вокруг все загрохотало. А я от страха закрыла глаза, уши зажала ладошками. Когда все стихло и самолеты улетели, я побежала искать маму. Смотрю, на месте воронки страшная яма, а мамы и сестренки нет. Упала я на землю и заплакала. Чужие люди подняли меня, взяли за руки и повели. На поле и на дороге лежало много убитых. А оставшиеся в живых говорили: «Идемте на восток, к своим».

Бася замолкла. В спальне стало тихо. Девочки задумались о своих мамах и папах. В это время пришли с дежурства по кухне Морька и еще две девочки. Они, включив свет, стали готовиться ко сну. Морька, дойдя до своей кровати, нырнула под нее и поползла под рядом коек... Вдруг кто-то взвизгнул, и раздался плач. Это плакала Бася. Девчонки повскакивали со своих коек и подбежали к Басе.

— Что с тобой? Что?— спрашивали они.

— Кто-то меня уколол снизу иголкой,— с горькой обидой вымолвила девочка.

— Это Морька, Морька. Она сейчас ползла под кровати,— возмущаясь, заговорила Тася. Виновницу вытолкнули на середину круга.

— За что ты ее? За что?— закричали все.

Морьке стыдно признаться, что в ее, морькиной, душонке живет шерстистый предрассудок.

— Говори, за что?— требуют девочки. И, немного еще колебавшись, Морька говорит:

— Нёрусь она! Нёрусь ваша Баська!

— Так ты вот какая!— заволновались все. Оля, настойчиво подступая к Морьке, взволнованно закричала:

— Не смей обижать Басю! Не смей! У нее немцы маму и сестренку убили. А ты...— Но, не договорив, Оля горько заплакала...

— Ну, чего ты плачешь? Чего? Не надо,— уговаривают Олю девчонки.

— Я вспомнила свою маму. Когда я плохо себя вела и кого-нибудь обижала, мама мне говорила: «Не смей обижать людей!» А теперь моя мама далеко-далеко, в Ленинграде, а там голод,— всхлипывая, договорила девчужка. Девочки, обступая Морьку, загалдели: «Лупить ее надо, лупить!»

Никто не слышал, как открылась дверь в спальню, и ночная няня, подойдя к сгрудившимся девочкам, строго спросила: — Что здесь происходит? Почему не в постелях?

Все молча пошли к своим койкам.

На другой день Морька, заискивая перед девочками, старалась заговорить то с одной, то с другой. Но все, совсем и не сговариваясь, объявили ей бойкот. Шли дни, а бойкот продолжался. Морька слонялась по залу и коридору, гордо поднимая всякий раз голову, если навстречу шли девочки из «ее» группы. Морька выдержала бойкот только неделю. В конце недели она расплакалась, подошла к Басе и попросила прощения. Бася великодушно простила ее. После этого случая в душе Морьки вроде что-то шевельнулось и стало переворачивать и переворачивать все злобное, жестокое и муровать его в глубины памяти, чтобы потом со стыдом заставить вспомнить: «Неужели я такой была?»

## Не бог, а люди ...

Сегодня Назька проснулась рано. За окнами стояла тьма, но постепенно окна стали наполняться синью — приближалось утро. Вот уж издали донеслось: «Подъем, подъем!» Это ночная няня и дежурный воспитатель будят ребят. Назька, соскочив с кровати, подбежала к Зине и сообщила, что у нее, у Назьки, сегодня день рождения. Девочки кинулись «драть» назькины уши. День был воскресный, и после завтрака Назька отпросилась у воспитательницы сходить на пруд, чтобы выполоскать свою школьную форму.

— Ладно, сходи, ты уже не маленькая,— сказала, отпуская ее, воспитательница. В прачечной девочка тщательно выстирала белую кофточку и черную юбочку с бретельками, отжала их и пошла на пруд. Мосток на пруду, с которого обычно полоскали белье, слегка был затоплен водою. Назька, присев на корточки, с удовольствием прополоскала в холодной воде школьную форму. Идя по тропинке домой, девочка увидела, что откуда-то сверху падают на землю горошины — нет, мелкие круглые картофелинки. «С неба»,— решила она и принялась подбирать картошинки, думая: «Наверное, бог посылает их мне в день рождения!» А горошины все падали и падали. Некоторые упали в сухостойную полянь. Назька и там их находила. «Сварю в прачечной в котелке»,— думала она. Репейный бурьян окружал изгородь. Назька, потянувшись за очередной картошинкой, вдруг услышала:

— Девочка, ты детдомовская?

Вздвогнув, Назька выпрямилась и увидела опирающуюся на изгородь женщину. Поодаль, у старой бани, стоял маленький мальчик. У него на левой ладошке лежали мелкие картошины. «Значит, это он кидал, а я-то подумала...» — мелькает в назькиной голове.

— Дак из детдома ты? — переспрашивает женщина.

— Да, — говорит Назька.

— Ты брось мелочь-то. Я дам тебе покрупней, — и женщина, наклонившись, положила из ведра в цветастый фартук десятка два картофелни.

— Ты подожди меня, — сказала она, — я сейчас. — Вскоре женщина вышла из калитки и, подойдя к девочке, спросила: — Куда их высыпать? Назька сняла с головы платок, женщина ссыпала картошку в него.

— Спасибо, тетя, — сказала Назька.

Женщина, поднеся конец головного платка к глазам, пошла к калитке.

Придя в прачечную, девочка стала просить у прачки тети Ульяны котелок.

— Зачем он тебе? — спросила прачка.

— Сварить картошку.

— Где взяла?

— Тетенька дала, — ответила Назька.

— Какая тетенька? — выпрашивала тетя Ульяна.

— Да она у пруда, у мостика живет.

— Ну, ладно, бери котелок.

Сварив картошку, Назька сбегала за своими подружками. Девочки сели под высокую лиственницу. Назька высыпала вкусно пахнущую и сверху слегка пригоревшую картошку прямо на хвойни-иголки. Соли не было, но и без нее картошины были вкусны. Засыпая в этот вечер, Назька решила: «Не бог, а добрые люди помогают друг другу. Люди, люди!» — пело в ее душе.

— Зин, а Зин, а как счастливой стать? — спрашивает Назька.

Летят мгновения, а Зина молчит. Наконец, очень серьезно она говорит:

— Я думаю, что счастья надо самому добиваться.

— А в чем добиваться? В чем? — вопрошает Назька.

— Во всем, во всем, — кричит Зина и, разбросив руки, кружится и смеется. Смеется оттого, что всю ее душу наполняют солнце и счастье. Счастье жизни.

И огромное, большое счастье пришло, пришло ко всему советскому народу. В один из майских дней разнеслось по всему детскому дому: «На линейку, на линейку!» Все двести с лишним воспитанников выстроились в зале на огромном ковре, сшитом девочками-старшеклассницами из суконных одеял

и искусно украшенном аппликациями. Все работники детско-го дома и даже дед Егор стояли перед ребятами. Женщины утирали слезы и улыбались. Враз наступила тишина. И директор, волнуясь и радуясь, сказала: «Ребята! Дорогие ребята, война кончилась!» Какое-то неуловимое мгновение стояла тишина, а потом поднялся невообразимый шум. Одни ребята хлопали в ладоши, другие кричали: «Ура! Ура! Ура!» В большом доме наступил праздник. Воспитанникам разрешено было сходить на прогулку в лес. Девчонки шестой группы, придя в лес, сели на толстое, лежавшее среди травы, дерево.

— Вот закончу семь классов и поеду учиться на геолога,— вслух мечтает Зина.

— А я — на врача,— объявила Оля.

— А я буду поваром,— сказала Морька. Девочки засмеялись.

— Чего смеетесь, зато я никогда не буду голодать,— отрезала Морька.

— Ты думаешь, что и после войны голодать будем?— спрашивает Зина. Но Морьке не дают ответить — все девочки вразнобой закричали: «Нет, нет, нет!» И эти слова разносит и перекатывает эхо лесных далей. Девчонки, обнявшись, раскачиваются и поют:

— Кончилась война, кончилась война!

«А-а-а»,— отзывается стозвонное эхо. И качаются ветки деревьев, и блестит зеленеющая листва под солнцем.

## **А горе еще живет на Земле**

В детский дом приехал военный. На груди медали, ордена и Звезда Героя. «За кем, за кем он приехал?»—заволновались ребята. Директор увела приехавшего к себе в кабинет. Небольшая группа воспитанников, кучкой стоявшая у окна в коридоре, замерла в ожидании. Вот открылась дверь директорского кабинета, и Лариса Власьевна, позвав дежурного воспитанника, сидящего у входной двери, сказала:

— Вася, позови конюха.

Пришел Егор Егорыч.

— Егорыч, запряги Лысанко, поедем с отцом Саши Мисарова на кладбище.

Ребятишки, стоявшие у окна, враз сникли.

Вскоре к парадному крыльцу подкатила бричка. Майор с директором сели в бричку и поехали. На кладбище отец Саши пал на колени перед могилой сына и застыл. Что-то горестное, тягостное нахлынуло на него и стало давить в груди, подступая к горлу.

— Запоздал я, сынок, запоздал,— простонал отец.

На кладбище было мучительно тихо. Но вдруг в отдален-

ной синеве небес пророкотал гром. И затих. Затих, словно подумал: «А сто́ит ли будить соки Земли, еще не совсем проснувшиеся от сна?» И вдруг яростно грохнув, он потряс все раскатами и кинул на землю живительные струи. «Сто́ит, сто́ит, сто́ит!»— дружно завыстукивал ливень. «Сто́ит, сто́ит, сто́ит!»— раскатисто шумело все вокруг. «Пусть соки жизни бурно текут по жилам Земли! Пусть будет вечным Живое!»— шумела и ярилась вода. И все живое продолжало жизнь!

## Возвращение старого директора

Через несколько недель после Победы возвратился в родной город Александр Никифорович Коротов, до войны работавший директором детского дома. На другой же день Александр Никифорович пришел в детский дом. Вихрастые и глазастые ребяташки окружили его и с надеждою в глазах ждали, когда же он скажет, к кому приехал. Двойняшки-первоклассницы, прижимая к груди матерчатых кукол, подбежали к Александру Никифоровичу и ухватились за его руки.

— А вы за кем? За кем?— наперебой кричали девчушки. Дрогнуло сердце у Коротова, он поднял девочек на руки. Двойняшки, не выпуская кукол, прижались щеками к нему и обхватили ручонками его шею.

— Вы к ним?— спросил Витя.

— Нет, я к вам, ко всем.

— Ко всем?— недоуменно протянули ребята.

— Да, ко всем. Я директор детского дома. Вот отвоёввался и вернулся к вам. Ну, что? Примете меня к себе?

Недоумение в глазах ребят сменилось восторгом, и они закричали:

— Примем, примем!

И жизнь в родном доме продолжалась. Только директором теперь стал Александр Никифорович, а Лариса Власьева — завучем, как было до войны.

Как-то в сентябре дежурные по столовой разнесли невероятную весть: будто бы с сегодняшнего дня хлеба будут давать досыта. Никто этому не поверил. Но дежурные горячо заверяли: «Правда, правда!» Наступил завтрак. На каждом столе посередине стояли алюминиевые тарелки, а в них лежали стопки черного хлеба. Александр Никифорович, пройдя между рядами столов, остановился и сказал:

— Ребята, горисполком принял решение обеспечивать вас, воспитанников детского дома, хлебом досыта. Больше для вас не будет хлебных пайков. Ешьте хлеб, сколько хотите,— и голос директора, как показалось Назьке, дрогнул.

Ребята ели и ели хлеб, им казалось, что никогда не насытятся его досыта. А дежурные по столовой подкладывали



да подкладывали хлеб на столы. Вскоре ребята, наевшись, стали говорить «спасибо» и выходить из столовой. Зина и Назька спрятали по два кусочка хлеба в рукава платьев и осторожно, не размахивая руками, вынесли их из столовой.

У детского дома не было своей школы. Все воспитанники ходили учиться в городскую десятилетку. Как-то уж повелось, что воспитанников детского дома называли «детдомовскими», а учащихся, живущих с родителями, «домашними». В старших классах «домашних» училось очень мало. Голодное было время. Шла война. А потому, подрастая, ребята шли работать. Становились помощниками матерей. Другое дело «детдомовские». Учили их, одевали и кормили за счет государства. Когда Зина и Назька пришли в школу, то они подошли к Валентине, которая сидела за партой и учила правила по русскому языку. Валентина была «домашней». Ей-то и протянули аппетитные черные кусочки хлеба подружки. Валя удивленно посмотрела на девочек.

— Это тебе, нам теперь досыта хлеба дают,— сказала Зина.

— Досыта?— снова удивленно посмотрела девочка и бережно уложила кусочки хлеба в ситцевый платок, в котором носила учебники.

— Ты хоть один кусочек съешь, Валя,— просит Назька.

— Нет. Дома вместе с мамой и братом будем есть,— повзрослому решает Валентина.

## **Начало пробуждения души**

В учебной комнате стоял большой шкаф, в нем хранились книги. Их разрешалось читать только старшеклассникам. Назька взяла почитать книгу Войнич «Овод». Через несколько дней, прочитав книгу, но не все поняв в ней, девочка спросила свою подружку:

— Зин, а ты читала «Овода»?

— Читала,— ответила Зинаида.

— А вот почему Монтанелли боялся открыться Артуру, что он его отец?

— Потому что священникам католической церкви нельзя жениться и иметь свою семью,— объяснила Зина.

— Но ведь у Монтанелли был сын,— возразила Назька.

— Если бы об этом узнали, то Монтанелли лишили бы права быть священником. А он очень любил славу, почет и власть над людскими душами,— словно размышляя вслух, заключила Зина.

— Ну и что? Разве слава, власть и почет дороже сына?— возмутилась Назька.

— Значит, для него дороже,— печально произнесла Зинаида и умолкла.

— Это страшно!— шепчет Назька. Разговор подружек обрывается.

Назька теперь все чаще и чаще уединялась. Она уходила в бревенчатый заброшенный дом, что стоял на взгорке. Дом этот был без рам и дверей. Но в нем всегда было тихо. И в теплые, солнечные дни девочка, сев на подоконник и слегка запрокинув голову, смотрела и смотрела в небо. Раскрытая книга лежала на коленях, а мысли, разрастаясь, ставили все один и тот же вопрос: «Для чего мы живем? Для чего?» Ни в одной прочитанной ею книжке Назька не нашла ясного, прямого ответа на этот вопрос. «Ольга Максимовна говорит, что надо уметь читать между строчек. А я до сих пор не научилась так читать»,— печалится девочка. И тут видит Назька: по тропе, ведущей от конного двора, не спеша идет Егор Егорович.

— Что, Настасья, мечтаешь?— спросил он. Назька смутилась. А дед Егор, словно не замечая ее смущения, говорит:— В твои годы это самое нужное дело — мечтать!

Девочка смотрит на деду и думает: «Вот он немало лет прожил. Наверняка знает, для чего люди живут. Спросить или не спросить? А вдруг он подумает, что я глупая, если не понимаю того, что все, наверное, знают и хранят в душе, как самую заветную тайну?»

— Ну, что, Анастасия, в нынешний выпуск уедешь? В самостоятельную жизнь, так сказать, вступать будешь?— как к равной, обратился Егор Егорович и присел на старую колду.

— Да,— ответила Назька и, наконец решившись, спросила:— Егор Егорович, а вот для чего люди живут?— Сказала это девочка и забоялась.— вдруг дед засмеется. Но Егорыч не засмеялся, а очень серьезно посмотрев на Назьку, достал кисет с махоркой, скрутил «козью ножку» и, закурив, задумался. А потом спросил:

— Тебе сколько годков-то будет?

— Пятнадцать,— ответила девочка.

— Так вот, Анастасия, вопрос твой — всем вопросам вопрос. Я тебе на него прямо-то и не отвечу, а вот притчу одну расскажу. А ты уж сама кумекай, что к чему — не маленькая, небось.

Дед докурив «козью ножку» и начал свой рассказ: «Жил-был человек. В давние или недавние времена, это не так уж и важно. Не правдою, а кривой кривдою нажил он богатства несметные. Более полувека прожил. И все бы ничего, да только его душа томиться стала. словно ознобом сердце охватывает. И взнуздала его кручинушка смертная. Теснятся, мечутся мысли в голове: «Для чего жизнь-то я прожил? Для чего? Неужто ради блеска золотого, корысти ненасытной!?» Опостылело ему все — и богатство, и высокое положение.

И стал он странником и пошел к людям. А прежде этого людей-то вовсе не замечал — только деньги видел, на них молился, ими жил, ими жизнь ценил. Так вот, идет он лугами, травами, видит, девица венки из полевых цветов сплетает да песню ласковую поет. А сама так и светится от радости и счастья. «Дай-ка спрошу ее — она так рада жизни», — решил странник. И говорит ей: — Красавица беспечальная, не погнушайся разговором со мной, скажи, для чего ты живешь?

Девушка наклонилась к уху странника, что-то прошептала, а потом, вся зардевшись, скоро-скоро по травам к реке пошла. «Ишь ты, — улыбнулся странник вслух, — для любви, говорит, живет, для любви! А я? Я? Любил ли я кого-нибудь? Нет. Все недосуг было, торопился злато-серебро копить», — сожалеет он. Видит странник: идет путем-дорогою женщина. Он и ее спросил: «Скажи, матушка, не утай, для чего ты жизнь свою прожила? Не обессуди старого, уважь». Добрая улыбка озарила лицо женщины, и слышит он: «Да я, батюшка, еще жизнь-то живу. И живу для детей своих да внуков родненьких», — сказала она и, поклонившись, пошла широкою дорогою в село. «А я? Жил ли я для детей своих? — задает себе вопрос странник и сам отвечает: — Нет, не жил. Дети давно отшатнулись от меня. Обижаются, что больно я жаден стал. Да и то правда, ведь я им ломаного гроша пожалел».

Глядит странник, а по дороге старец идет, как дуб, крепкий. Седина в волосах, а силушка в руках. Странник и к нему со своим вопросом обратился. И ответил старец: «В молодые годы землю нашу от погани вражьей защищал. А в остатнее-то времечко засеивал да украшал ее, кормилицу-понлицу нашу», — сказал так и пошел лугом-полем. Села на плечо страннику голубка. И сказывают, будто бы и ее он спросил: «Для чего живем, птаха малая?» И сказала в ответ птица вольная: «Для мечты крылатой живем, для полета!»

## **Вперед — самостоятельная жизнь**

Вот уж и за седьмой класс сданы экзамены. Под вечер в комнату к девочкам пришел Александр Никифорович. По-отцовски озабоченно оглядев всех, сел у окна. Девочки окружили директора.

— Повзрослели, повзрослели. Большинство сдали экзамены без посредственных оценок. Молодцы! — похвалил он воспитанниц. — Скоро в самостоятельную жизнь вступать будете. И знаете, нас всех будет очень огорчать, если кто-нибудь из вас не сможет найти свой путь в жизни и сохранить святое в душе своей. Вы дети военного времени. Война отняла у вас матерей и отцов. Родина вскормила и воспитала вас. Вы роднички и ручьи земли нашей. И я уверен, что вы душу отдадите учебе и работе, которые ждут вас впереди. Не за-

бывайте свой детский дом, пишете письма, приезжайте в гости. Детский дом — родной ваш дом.

Шло лето сорок седьмого года. Первой уехала поступать учиться в геологический техникум Зина Сирнова. Уехали и другие, кто куда. Тася с сестрой Маней и еще несколько девочек и мальчиков поехали учиться в ремесленное училище города Свердловска, самое лучшее училище центра Урала. Тася и Маня, прощаясь с младшим братом Витей, уливались слезами.

Назька мечтала стать учительницей.

В один из листопадных дней осени, рано утром Егор Егорович запряг в бричку Лысанко. Сама Лариса Власьевна взялась сопровождать Назьку в педагогическое училище. Ночная няня Анна Михайловна вышла на парадное крыльцо, обняла Анастасию и сказала:

— Учись хорошо да не забывай детский дом. Пиши письма, обязательно пиши.

— Ну, пошла,— натянув вожжи, добродушно понукает дед Егор лошадку. Назька оглянулась на большой, расположенный на взгорке родной светлый дом и увидела стоящих у окон младших. Малыши прощально махали Назьке руками, что-то кричали. «До свидания, до свидания!»— грустно отозвалось в Назькином сердце, и неожиданные слезы скатились по ее щекам.

Лысанко легко бежал под горку. На завалинке одного дома сидят люди. Поет-выговаривает гармошка, а молодая женщина, прислонившись к воротам, выводит:

Упало, разбилось счастье мое,  
за хмурые скалы солнце ушло.  
Мне ветры шептали — не жди, не придет,  
а сердце не верит, все милого ждет.

Назьке очень хотелось услышать, о чем дальше будет говорить песня, но Лысанко, грохоча колесами повозки, все быстрее и быстрее мчался вперед. Егор Егорович, вожжами попридержав бег лошадки, сказал:

— Ишь, гуляют, всю ночь напролет. Дождалась Пелагея свою.

Лариса Власьевна, печально вздыхая, проговорила:

— Повезло ей. А сколько их обездолила война!? Сколько не вернулись к семьям...

Вскоре подъехали к железнодорожной станции. В вагоне, стоя у окна, Назька жадно смотрела на уплывающие вдаль домики, черемухи и рябины. А поезд, набирая ход, торопился увезти девочку в дальние дали. Вот уж побежала за окнами уральская тайга. И охватило душу Назьки еще не известное ей чувство новых дорог.



## СЫН ЧАГЫТАЯ

Рассказ

После долгой дороги и долгой разлуки я снова на твоём берегу, Чагытай. Мне кажется, что ветер, играя на твоих волнах, снова мне поет ту песню, что много лет назад пела бабушка, убаюкивая внука в теплой юрте, кажется, что не было этой разлуки, и запах чистой материи, хранившейся долгие годы в сундуках, и запах кислого молока и теплой шерсти, устоявшийся запах юрты дает мне тот уют, который останется в нас на всю нашу жизнь, долгую или недолгую, располагая к доброте.

Впервые, как я помню, привез меня отец на Чагытай погостить к бабушке, моей «молодой» бабушке Найдан, на школьные каникулы в суровые послевоенные годы, когда за хлебом мы стояли в очередях с пяти часов утра, а к семи хлеб кончался.

Я проснулся от запаха еды и еще от того, что бабушка сказала отцу:

— Был бы жив Туметей! Проклятые фашисты, сыночка моего убили, свет очей моих!

В юрте повисла тишина.

— Что ты опять так на меня смотришь? Взрослым стал, выучился, а про брата так ничего как следует и не разузнал! Хоть бы съездил на место его гибели. Где это место? Где-то Украина, да?

— Да, мама, на Украине, под Ровно. Город такой там есть. Да говорят, мало что от города осталось, все разбомблено да сожжено фашистами.

— Хорошо, что наши победили их, сынок. Я никак не представляю их, в газете читала, в кино видела, но не могу понять, как можно все сжигать. Каменные дома, камень сжигать — как и зачем?

Дальше я ничего не слышал, сквозь глухое бормотанье мне снились самолеты и что я стреляю, как в кино, летаю на них и пускаю трассирующие пули, а над головой висят орден и медали дяди Туметя, висит орден Славы и испускает лучи, а звезды все ярче и ярче; открываю глаза, а из верхнего дымохода юрты нестерпимо ярко светит солнце и заставляет меня жмуриться и слепнуть. Я вскочил, быстро одеваясь, сообразил, что долго спал, почти до обеда, и никого в юрте нет, все заняты своими делами. Тут я вспомнил свой сон, вспомнил орден Славы... Присел к ящику и вытащил орден и все документы дяди Туметя.

...Третьим в семье Токтугу и Найдан появился сын. Родился он в лютые морозы, когда за ночь три-четыре раза при-

ходилось вставать и затапливать железную печурку, стоящую посередине юрты, приносящую тепло тем, кто тянет руки и ноги к огню: таких февральских морозов люди, даже прожившие долгую жизнь, не помнят. Старики говорили, что все это от гнева всевышнего, которому молодые не приносят жертв, да только мой дед на все это смотрел со снисходительностью сильного молодого человека, уверенного в своих силах, прошедшего сквозь огонь и воду. Он, как участник Кобдинского сражения, когда с молодыми своими сверстниками, тувинцами и монголами, сражаясь в рядах освободительной армии, доказал свою смелость, уничтожив с десятков врагов и захватив одного в плен, когда тот, завернутый в шелка, читал судур в подвале монастыря,— имел на этот счет свое мнение. Он открывал тот, отобранный у пленного судур в шелковой обложке, смотрел на него и говорил: «В природе могут быть и страшные морозы, и всенсушающие жаркие времена, это зависит от круговорота земли и солнца, звезды тоже имеют влияние на это. И если мальчик родился в такое жестокое время, он вырастет сильным мужчиной, поэтому надо дать ему имя великого воителя — Туметей».

Мальчик рос крепким и сильным, был выше сверстников на голову. Со старшим братом, моим отцом, они любили друг друга, но, хотя разница в восемь лет не давала равноправия, отчаянно дрались. Старший брат обвинял родителей, что они избаловали Туметей, и часто получалось так, что все ели баранину, а старший брат выстукивал в ступе тару и ел ее отдельно, рассердившись на весь мир, на что мой дед, посмеиваясь, говаривал: «Когда война в младших народах, старшим прибыля идут». На что Туметей обижался и, прижавшись к старшему брату, ревел, отчего все смеялись, а братья, простившие друг друга, обиженные на взрослых, уходили в степь, и долго еще до них доносились общее веселье и хохот.

Так и росли братья, помогая друг другу на заготовке дров, на покосе, на пастбище; старший младшего обучал всем немудреным наукам: как укротить скакуна или уложить коня, чтобы нагрузить мешки с мукой, если нет сил поднять их самим, как поймать жуку или подбить куропатку.

И вот настал тот день, когда старшему брату, достигшему совершеннолетия, надо проститься с семьей и искать счастья на стороне. У коновязи стоял оседланный Челер-Сарыг, лучшая лошадь семьи, побеждавшая на гладких скачках лошадей всей округи,— рысак, а иноходью шел так, что на ходу можно было подремать. Стоял он, навьюченный всякой снедью, одеждой — всем тем, что нужно было молодому человеку для жизни, человеку, вступающему в жизнь и не знающему, что его ждет завтра. К тому времени старшая сестра уже жила в Кызыле, училась и работала, была ревсомоль-

ской активисткой, а в семье теперь самым старшим сыном оставался Туметей и еще трое малышей, самому младшему два года. Поэтому старший брат наказывал Туметею:

— Смотри, ты теперь старший в семье, помогай матери, отец, сам видишь, постоянно на охоте, некогда ему с семьей.

— Ты береги Чслер-Сарыга, такой лошади нигде нет, это чудо-лошадь.

— Ладно уж, учитель.

И тут впервые старший увидел, что младший-то выше матери стал, крепкий орешек, куда там другим соседским, даже совершеннолетним, поборот их Туметей!

Дети в семье Токтугу, на удивление и зависть другим, росли высокими. Старший к совершеннолетию вымахал двухметровым, а Туметей виделся еще рослее, не по годам серьезный, он удивлял всех ростом и физической силой. Все родные и знакомые смеялись, что они рыбьих костей из Чагытая наелись, поэтому костистые вытянулись, как щуки, на что старший неизменно обижался, а Туметей смеялся: «Вырасту, как гора, лошадей ваших передавлю».

В те годы шли разговоры о коллективизации аратских хозяйств, говорили, что это такое, но пока дальше разговоров дело не шло. Но чувствовалось, что назревают какие-то перемены. Араты, оправившись от потрясений гражданской войны, приняв новую государственность, зажили лучше, год от года увеличивалось количество скота, но нет-нет да что-нибудь и случалось. Так, в том тридцать первом году, у дальней родственницы Найдан умер муж, а затем и сама она умерла от неожиданной скоротечной болезни, и двое малолетних ребятишек остались в пустой юрте, и весть эта какими-то окольными путями пришла в семью, когда дед был на охоте. Пришлось отправить Туметею одного за сиротами. И вот он на второй день на двух подводах привез ребятишек и все, что осталось в их юрте после смерти взрослых. Так семья опять количественно восстановилась, а мать без усталости хлопотала возле маленьких ребятишек. Ребятишки быстро отогрелись и освоились, жизнь пошла веселее. В те дни Туметей резко повзрослел, стал внимательным и заботливым, носился по всему аалу, предупредая все желания матери, став сосредоточенным и молчаливым, молча и споро работал целыми днями: то ездил за дровами, то ухаживал за скотом, то помогал отцу в тайге. Мать удивленно следила за ним день, два, а потом спросила:

— Ты что, сынок, заболел, что ли? Похудел даже как-то.

— Да нет, мама, я здоров, только чувствую, что много недоделал. И так каждый день, мне кажется, что я не успеваю ни за лошадьми, ни за коровами...

— Что ты, что ты, сынок! Ты и так все делаешь. Только, видно, детство у тебя кончилось. Раньше времени повзрослел.

— Да, мать, просто я не знал раньше, что такое смерть, а когда увидел ребятшек, не мог два дня ни есть, ни говорить. Они могли там замерзнуть!

— Иди, сынок, отдохни, я сама загоню скот, нынче весна ранняя, уже на солнцепеке тает. Я всех твоих любимцев знаю, всем дам соли. Ты всем им имена такие дал, что никак их нельзя спутать, повадки каждой коровы или лошади прямо как изучил!— мать гордо и с любовью смотрела на сына снизу вверх, а у самой на душе — праздник.

Время летит незаметно. Если труд делает человека, а человек свою душу — Чагытаю незачем волноваться, он останется в своей чаше, а волны рано или поздно утихнут, и выведут утки свое потомство на простор озера, где можно будет, расправив крылья, хлопнуть по воде, а там, глядишь, и взлететь.

Туметею исполнилось восемнадцать, когда началась организация колхоза. В местечке Кара-Чыраа стали собираться люди, и молодежь потянулась туда. Пошли разговоры, что для организации колхоза люди сдают свой скот, а лошадей мало, что колхозу лошади позарез нужны, чтобы пахать землю и сеять зерно. И тут Туметей не выдержал, сказал отцу и матери, что забирает всех лошадей и пойдет работать в колхоз. Отец забил тревогу: как охотнику без лошадей, оставь хоть одну! Мать посмотрела на сына:

— Об одной лошади и разговоров не может быть. Да к тому же Челер-Сарыг, которого вернул тебе твой брат, тоже ведь, по существу, не твоя лошадь, а его, так что бери пять остальных и вступай в свой колхоз. Коров мы тебе не дадим.

— Как же так, мама, коровы, я понимаю, твои, а Челер-Сарыг ведь мой, брат мне его отдал, он в колхозе нужен!

Тут не выдержал дед.

— Бери, сынок, хоть все бери, мы как-нибудь проживем, ладно уж.

— Как так все бери? Это ты, как безродный, вечно в тайге пропадаешь, а мне что делать? Как всех растить, ведь малых-то еще пять. Как я без коров буду их растить? Нет, нет, бери лошадей и езжай, а без коров я не смогу жить. А овцы что, они ведь с осенним приплодом меня изматывают, слезы не просыхают, как осенний приплод, так всю зиму плачешь да трясешься, до того слабые, что смотреть невозможно, да еще сироты мои...

Тут не выдержал Туметей.

— Не поеду я ни в какой колхоз. Пропади оно пропадом. Неизвестно еще, что это такое. Здесь бы по хозяйству еще управиться, столько дел. Я пошел, мама,— овец пригоню.

— Постой, постой, сын. Ты что это говоришь? Не пойду в колхоз! Все только и говорят про колхоз, а ты ночами не



спишь ворочаешься. Нет, сынок, ты иди, иди в колхоз, может, там найдешь свою судьбу, может, и невестку нам привезешь, не будешь же, как привязанный к озеру, сидеть. И так все говорят, что ты... что ты, ну, одним словом, в два раза больше мамы, перерос ты здесь всех, езжай, сынок, счастья тебе я хочу, а мужчины всегда в нашем роду добывали себе счастье сами.

Сборы сына были недолгими. Он забрал лошадей и, попросившись с родителями, поклонившись родным, поехал в Кара-Чыраа. И долго еще мать, заслонившись ладонью от солнца, смотрела вслед своему среднему, пока он не скрылся на западе, — оставаться всегда тяжело.

Приходили весточки от Туметея, приезжал иногда он и сам, все рассказывал, как там у них в товариществе по улучшению животноводства весело живут. Дни мелькают незаметно, они все учатся: научились читать и писать, начали заниматься гражданской обороной, а работа как работа, пасут своих овец, доят коров да молоко отправляют в Бай-Хаак. Очень интересно они живут, а все равно он скучает по Чагытаю, все вспоминает и рассказывает своим друзьям про Чагытай. И все пытался мать научить грамоте:

— Мама, это буква «а», это «б», «в». Смотри, мама, это буква «м». Ну-ка, читай.

— Ма. Ма-ма. Ха-ха-ха! Это, значит, я?

— Да, ты. Мы, знаешь, мама, на лыжах бегаем, я — чемпион. Пятнадцать, двадцать километров.

— О-о! А это далеко?

— Как вокруг Чагытая три раза.

— Не ври. Ты что, лошадь, что ли?

— Когда я врал, что ты, мама?

Мать смущенно выдавила:

— Да, давно это было, в детстве.

— Ну, что ты, я такого что-то не припомню.

Однажды летом сын прискакал на своем Челер-Сарыге взьерошенный:

— Мама, война, война с немцами!

— Что ты, сын, какая война?

— Да немцы напали на Советский Союз.

— Ох, боже мой, опять несчастье. Да иди в юрту.

— Мне некогда, мама, я добровольцем на фронт прошусь, вот поехал в Бай-Хаак, чтобы записали на фронт.

— Ой, не горячись, может, и не война.

— Война, мама, я поехал.

— Хоть бы чаю выпил...

Но сын был уже далеко. Только дробный стук копыт да одинокая мать с протянутой к сыну рукой.

Но только через два с лишним года Туметей ушел на фронт. За эти годы, занимаясь сначала гражданской обороной, а затем военной подготовкой, Туметей в совершенстве овладел стрелковым оружием, пулеметом. Стойкий к невзгодам, он необычайно быстро освоил обязанности солдата, но все же добровольцы, четко отдавая рапорты, выполняя, казалось бы, простые солдатские обязанности, все равно оставались вчерашними крестьянами. И только, когда прибыли на фронт, была принята торжественная присяга, и шеренги, вытянувшись, прошли перед боевым знаменем полка, под гром оркестра, добровольцы вдруг подтянулись. Военный оркестр есть военный оркестр — шаг начал впечатываться в землю, груди развернулись, дыхание стало сжатым, и такими слитными стали колонны, что у бойцов побежали мурашки по спине. А командир полка все думал: «Что это, ведь говорили добровольцы, а здесь — кадровая часть идет. Вишь, как тянут носки. В чем, в чем, а в этом я разбираюсь».

А потом, на торжественном обеде, устроенном в честь такого дня, молчаливый силач-богатырь Туметей все гудел:

— Знаете, вот под знаменем полка, под военный марш я что вдруг почувствовал? До чего же мы слились, до чего же грозно вышло!

И все наперебой делились своими впечатлениями.

Первый бой за взятие Деражно, по воспоминаниям политрука Байыскылана, был очень тяжелым, но солдаты-добровольцы показали себя храбрыми и стойкими. Взять сильно укрепленную деревню с ходу не удалось, и добровольцы откатились назад, перегруппировались, ударили снова. Только к вечеру была взята деревня. Первый бой, очень высокая плотность огня: артиллерия, минометы, пулеметы и, наконец, танки и бронетранспортеры устраивали свинцовые смерчи. Для необстрелянных солдат взятие такого сильно укрепленного опорного пункта — высокая воинская доблесть.

Ночью, когда деревня была полностью очищена, раздали ужин, Байыскылан, после госпиталя, зашел в первый взвод и увидел такую картину: взвод отдыхал, сушились шинели, портянки, гимнастерки. Все бойцы были мокрые, а посередине уцелевшей хаты, вокруг печки-«буржуйки», сгрудились добровольцы, и шустрый Кошкар-оол рассказывал:

— Вижу, впереди маячит дубина, ни немцев, ни деревни из-за него не видно, соскочил с коня, крутит игрушечкой, я думал, палочка, а это Туметей пулеметом работает, — взрыв дружного хохота. Дежурный увидел политрука:

— Встать, смирно!

Байыскылан поднял руку.

— Сидите, сидите. Продолжай, Кошкар-оол, как ты прятался за Туметеем, — политрук подхватил шутку и подмигнул Кошкар-оолу, а он, засмущавшись:

— Видите ли, это я его сзади прикрывал, думал, они танк поведут на него, снаряды его не брали, бронетранспортер от него пятился, так что лоб у него чугунный, видно,— взрыв хохота. Кошкар-оол хлопнул по лбу рукой, да так и осталась рука возле лба.

— Смотри, какой взгляд, как будто катюши сверкнули, ох-ох, я испепелюсь, хватайте ПТР, прикройте меня! Да не от немцев, от Туметей.

Самбу, его друг, схватил гимнастерку и закрыл Кошкар-оола. Хохот стоял оглушительный, а Туметей ворчал:

— Вечно этот Кошкар-оол зубы скалит, хоть палец покажи, он смеется!

— Да, да, Тумет, твой палец с мой кулак, а кулак покажешь — немцев за кусты потянет! — взрыв хохота.

Вроде ничего смешного, а смеялись до упаду.

И потянулись фронтовые будни.

За освобождение Ровно, в числе отличившихся бойцов, рядовой Оюн Туметей был представлен к ордену Славы.

Бой начался приказом командира полка — занять «пятячок», оседлать дорогу и закрыть перекресток с рокадной дорогой, и до поры до времени не показываться, а когда обнаружат — стоять до конца, пока не придет подкрепление. Для выполнения задания командир роты выделил командиру отдельного отряда двух автоматчиков для связи, четыре пулеметных расчета с двойным боекомплектом, четыре ПТР — набралось девятнадцать человек. И этот маленький отряд скрытно занял позицию. Окопались быстро. Выкопали по несколько запасных пулеметных гнезд на каждый пулемет и ПТР, связали все это ходами сообщения где в рост, а где поменьше, сколько успели до обнаружения отряда. Успели натянуть маскировочные сетки и укрыть их местами ивнякам.

Немцы обнаружили, что отрезаны рокадная дорога и одна из основных дорог. Не разобравшись, что это: наступление, отвлекающий маневр или заслон,— они начали разведку боем. Сначала по окопам был проведен артналет. Снаряды и мины заставляли людей вжаться в дно окопа. Короткий артналет закончился — и перед отрядом появились три танка и до роты фашистов. Завязался бой. На брустверы окопов ложились снаряды, рой пуль жужжал, автоматы, захлебываясь, стреляли по траншее. Командир отряда и наблюдатель не торопились. Но вот он подал команду — и все высунулись из окопов. Метров двести до танков и атакующих. ПТРы с четырех точек открыли огонь. Снаряды, чиркнув по броне танка, улетали вверх и в сторону. Заработали крупнокалиберные пулеметы с танков, но они пока били вслепую. Еще залп, еще залп — один из танков загорелся. Над окопами заработали пулеметы, отсекая пехоту. Один из пулеметов, выдвинутый вперед, открыл кинжальный огонь. Фашисты от-

катились назад, но успели нащупать почти все огневые точки.

Командир подал команду сменить расположение огневых точек. На месте остался один расчет ПТР, раненого бронбойщика перевязывал второй. Остальные успели перебраться в запасные окопы, и тут запели мины. В разрывах мин командир увидел, как накрыли расчет бронбойщиков, от прямого попадания вылетело искореженное бронбойное ружье. Почти все окопы, в которых сидели до этого расчеты, были разворочены или засыпаны землей.

Командир позвал к себе коммуниста Балчий-оола.

— Видишь, как пристреляли, все окопы накрыли, видно, очень опытная часть, вояки грамотные. Скажи Туметею, пусть выдвинется вперед, в ту запасную точку (командир показал рукой на бугорок справа). Пусть ведет кинжальный огонь, но пусть выдерживает характер, подпускает ближе немцев и уж потом наверняка бьет. И чтобы после атаки окоп быстро менял!

— Слушаюсь.

— Всем передай: после каждой атаки менять место. Да чтобы не мешкали. Сейчас пойдут. Дадут нам жару. Накажи бронбойщикам, в лоб чтобы не били.

— Кошкар-оол! Ты ищи. Ищите корректировщика, где-то он должен быть. И если пулемет не достанет, шарахните его бронбойкой. Понял?

— Понял, товарищ командир, слушаюсь.

Еще раз повторив удар из минометов и артиллерии, немцы под прикрытием пяти танков и двух бронетранспортеров, силами уже двух рот, полезли на отряд.

Вокруг стоял ужасающий грохот, но добровольцы долго не отвечали, и когда уже до окопов оставалось метров сто пятьдесят, открыли огонь. Заработал и ПТР, выдвинутый вперед, и пулемет Туметея. Фронтальным огнем ПТР подбил с первого выстрела головной танк. Снаряд ударил точно под башню, и танк загорелся тоненькой струйкой дыма. ПТР, развернувшись, подбил бронетранспортер, вылезавшие оттуда фашисты были срезаны кинжальным огнем пулеметов, загорелись второй и третий танки. Фашисты, оставив не менее полусотни трупов, откатились назад. Потери добровольцев составили пять человек убитыми, один был тяжело ранен, легкие раны были у нескольких бойцов. Но с ними не считались. Быстро сделав перегруппировку, бойцы принялись за перевязки. И тут радостно закричал Кошкар-оол:

— Вижу, вижу гада, он блеснул трубой на дереве. Видите дерево на окраине деревни? Он там сидит. Дайте мне бронбойку.

Тщательно прицелившись, он выстрелил. С дерева мешком свалился убитый немец.

— Ура!— Но тут засвистели мины и началась очередная артиллерийская подготовка. Фашисты остервенело кинулись вперед. Но опять откатились. Командование, видно, разобралось, что перед ними хорошо вооруженная горсточка людей, поэтому уже не бросало в бой танки. За шквалом артиллерийского огня вплотную за ним двигались цепи фашистов силами до батальона. А добровольцев все меньше и меньше. Убит командир отряда, убиты Балчий-оол, Кошкар-оол. Остались только трое: Самбу, Туметей и Биче-кыс. Перед очередной атакой немцев трое собрались вместе и на прощанье обнялись. Биче-кыс и Самбу были легко ранены, только Туметей остался без царапины. Грязные, закопченные, они разошлись к трем пулеметам. Пахло вонючим немецким толом. Туметей нес уцелевший ПТР. Что они думали тогда? Может, думали о подмоге, но скорее всего, нет. Надо было отстоять этот «пятяточок», эту точку на карте, за этой точкой — Родина, за этой точкой — чаша Чагытая и та юрта, в которой сидит маленькая, иссушенная заботой, трудами да тяжелой жизнью женщина — его мать. Перейдя в чудом уцелевший окоп, Туметей обстоятельно похозяйничал: лопаточкой почистил его, сделал в стене дополнительные ниши и сложил туда гранаты, положил на бруствер пулемет, противотанковое ружье, промерил глазами расстояние до приметных точек, представил себе, куда будет бросать гранаты. Устраивался надолго, как будто знал, что это его последний окоп. Все ходы сообщения были до того изрыты снарядами и засыпаны землей, что уже не были ходами сообщения.

Тут началась очередная артподготовка. Шли цепью фашисты. Подпустив их близко, враз ударили три пулемета. Немцы залегли. Плотность огня нарастала. Четыре раза поднимались и залегали цепи. Умолк пулемет Самбу, но два пулемета яростно огрызались. Немцы не выдержали и откатились. Биче-кыс кинулся к Самбу — убит, к Туметею — он лежал на животе, еще живой, но вместо правого глаза — кровавая дыра. Срезанная мушка пулемета и глаз сказали все. Биче-кыс перевернул его:

— Тумет, Тумет, друг мой!

В ответ Туметей застонал:

— Мама, мама, мамочка...

— Я спасу тебя, я вытащу!— Биче-кыс захлебывался.— Сейчас, сейчас, я перевяжу.

Но тут со стороны немцев, видимо, заметивших движение, прилетела мина, и взрывом накрыло обоих. Биче-кыс лежал оглушенный, без сознания. Фашисты больше не лезли, измотанные, они оставили надежду на взятие рубежа. Но здесь ударили основные силы полка, и немцы, побросав искореженную технику, неудержимо покатались на запад. Сурмичи были освобождены одним ударом, с ходу.

На место боя приехали Байыскылан и Кечил-оол. Нашли оглушенного Биче-кыса, отправили в госпиталь. Перед позицией добровольцев похоронная команда насчитала до ста двадцати трупов в серо-зеленых мундирах...

Наказ матери есть наказ матери. В Ровно побывал, правда, не старший брат Туметея, мой отец, а я. Видел памятник на месте гибели героев-добровольцев, надпись на нем — стихами, на тувинском языке. Почтил память своего дяди Туметея. Только не смог рассказать об этом его матери, моей «молодой бабушке» Найдан — ее уже не было в живых.

Анатолий Емельянов

## ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ

*Лирическая драма в пяти картинах*

Действующие лица:

Лалетин Федор Тимофеевич, за 50 лет.  
Гелена-Тереза, примерно в том же возрасте.

Раненые:

Северцев Игорь Евгеньевич, майор, за 30 лет (Циник);  
Кувшинов Серафим Павлович, майор, постарше (Философ);

Мишин Василий Иванович, капитан, 27 лет (Оптимист);  
Затрухин Сергей Петрович, лейтенант, лет 30 (Скептик);

Лалетин Федор, младший лейтенант, 19 лет (Наивный)  
Люба, медсестра, лет 20.

Геленка, 18 лет.

Пан Кавалек, содержатель кабачка, лет 35.

Отец Амбросий, ксендз, за 50 лет.

Действие происходит в Польше весной 1945 года.

### КАРТИНА ПЕРВАЯ

Сцена изображает внутренний вид католического собора. В глубине, за металлическим ограждением — икона божьей матери. Звучит мощная, торжественная органная музыка. Полумрак. Бледные красноватые лучи, пробивающиеся сверху сквозь витражи окон, едва освещают женщину, лежащую крестом на полу: прямо, лицом вниз, раскинув в стороны руки. Перед иконой молодая полячка в трауре молится.

На авансцене, у левого края, — мужчина за 50 лет. У правого края — женщина в том же возрасте. Это Гелена-Тереза и Федор Тимофеевич Лалетин.

Он. Не знаю, почему, но все чаще и чаще возвращаюсь я памятью к этой, в общем-то, кажется, ничем не примечательной истории моей жизни в последний год войны. Я лечился тогда после ранения в госпитале, в польском городе. Рядом с госпиталем был большой собор. Раны мои заживали, и я часто ходил в этот собор слушать органную музыку.

Она. Вся эта, как он говорит, в общем-то ничем не примечательная история случилась у него из-за меня. Я и теперь живу в этом городе. Бываю иногда и в соборе. Но посмотрите: это я. Нет, не та, крестом на полу. Я не знаю ее, должно быть, она великая грешница — так искушают лишь самый тяжкий грех. А я — в глубине, перед иконой матки боски. В трауре. Тогда умерла моя мама, и я часто ходила в собор молиться. А вот и Он...

В собор входит младший лейтенант, в левой руке на перевязи он держит фуражку. Остаетывливается педалеко от молящейся девушки.

Он. Необыкновенные, мучительные, радостные чувства захватили меня всего, как только я увидел ее. Сердце колотилось с такой силой, что я даже оглянулся, испугавшись, что все в соборе услышат его. Я удивился, что никто этого не заметил. Я подумал: наверное, это и есть то, что люди называют любовью. Наверное, это и есть моя любовь, моя судьба. А я тогда много думал о любви и ждал ее. Теперь-то я знаю, что это было. Я много читал и любил Блока, особенно его стихи о Прекрасной Даме, «Незнакомку». Помните?

Из глубины собора, в записи, звучит голос младшего лейтенанта Федя Лалетина. Он читает Блока: «Вхожу я в темные храмы...»

Теперь-то я знаю: то, что я пережил тогда, при нашей первой встрече, не было еще любовью к ней. Это было глубокое восхищение и удивление тем, что туманный, чарующий образ, созданный воображением любимого поэта, может реально существовать. Вот она, блоковская Незнакомка! Живая, стоит передо мной! И все, как у него: и траур, и темная вуаль, и можно подойти, смотреть без конца, сколько угодно любоваться ею. И... невысмысленное счастье: может быть, даже разделить с ней ее горе. И даже прикоснуться губами к этой узкой руке в темной перчатке. Я удивлялся и восхищался ею, и уже сострадал ей, не зная еще, какая она, добрая или злая, умная или глупая, возвышенная и чистая или мелочная и пустая. Я даже не подумал об этом, и несколько не сомневался в том, что она лучше всех, что нашел, наконец, Ее — единственную, и был счастлив этим, и готов был умереть за нее, если бы это потребовалось. Но кто знает, как начинается и из чего складывается эта, действительно встречающаяся в жизни и не раз воспетая поэтами любовь с первого взгляда?

Я никак не мог решиться подойти к ней. Молча, неотрывно смотрел на нее.

Она. Я, конечно, все это заметила. И сразу поняла, что понравилась ему. Но даже и виду не подала. Ни разу не посмотрела в его сторону. Стою, молюсь все усерднее. Толь-



ко иногда, незаметно, глазами — вот так! — и разглядела все-таки, какой он стройный, красивый и молоденький, совсем мальчик. А уже ранен... Значит, воюет. Война еще не окончилась, и я вдруг, неожиданно для себя, испугалась, что его могут убить. Еще я подумала, что где-то там, в России, его ждет мама, и что он, может быть, чувствует себя очень одиноким. Жалко стало его. Очень захотелось поговорить с ним, утешить и приласкать. Я сама была такой одинокой и тяжело страдала, но никак не могла выказать ему это. И не из-за какой-то особой гордости. Много написано в разных книжках о гордых полячках, но я думаю, что нет никакой особой гордости у польских женщин. Как все женщины в мире, мы прежде всего умеем сострадать и жалеть. Я не могла выказать ему своих чувств и потому, что нельзя это делать в соборе, нельзя в нем заниматься мирскими делами. Если делать это, молитва не дойдет до бога. Но он был воспитан по-другому, совсем по-другому. Его сдерживала только нерешительность, обычная в его возрасте для людей с очень чистым сердцем, и к тому же слишком идеализирующих женщин. Все-таки ему удалось преодолеть робость, и он подошел ко мне.

Мл. лейтенант подходит к девушке в трауре и пытается заговорить с ней.  
За ними наблюдает ксендз.

М л. л е й т е н а н т. Зачем вы молитесь, панинка? Чего вы хотите от бога?

*Девушка плачет молча, видно, как вздрагивают ее плечи.*

М л. л е й т е н а н т. Но все-таки, чего вы хотите от бога?

*Девушка оборачивается и прикладывает палец к губам, показывая, что нельзя говорить, нельзя нарушать молитву. Некоторое время она еще молится, молится более страстно, горячо шепча слова молитвы: «Матка боска Ченстоховска, крулева польска...» Затем направляется к выходу.*

Д е в у ш к а. Пусть пан молится.

*Лейтенант в некотором отдалении следует за ней.*

## КАРТИНА ВТОРАЯ

*У входа в собор. Торговая палатка, на прилавке — крестикки, молитвенники, четки, иконки. За прилавком — ксендз отец Амбросий. Мл. лейтенант стоит у прилавка, рассматривает товар. Из собора отдаленно доносятся звуки органа. На авансцене — Он и Она.*

Он. Прошло несколько дней с тех пор, как я встретил таинственную незнакомку. Каждый день ходил я в собор в надежде увидеть ее и познакомиться, но она не появлялась. Постоянно думая о ней, я все больше и больше наделял ее разными прекрасными чертами. Мое распаленное воображе-

ние рисовало ее доброй, чистой, благородной, нежной, гордой, разумеется, страстной. Я еще в школе кое-что читал о полячках и считал, что все полячки непременно гордые и страстные. Я сам создавал ее образ и, как это свойственно всем нам в юности, даже и мысли не допускал, что она может быть совсем другим человеком. Естественно, что я все больше и больше любил ее, т. е. не ее, а то, что было создано моим воображением. Много ли надо нам в эти годы, чтобы влюбиться! Какой-нибудь пустячок, слабый намек на то, что дорого нам и ожидаемо нами,— и сердце вздрогнет, и заболест тоской невыносимой, и мучается, и ждет исхода. И страшны, и сладки эти мучения, это предчувствие возможного счастья.

Она. Все эти дни после встречи я тоже иногда думала о нем. Не потому, что влюбилась. Мы, женщины, конечно, тоже можем увлечься, потерять голову и натворить глупостей, даже не испытывая глубоких чувств к человеку. И дорого потом расплачиваемся за это. Но по-настоящему покоряют нас мужчины не внешней красотой, а мужским характером, широтой души, смелостью, умом. Все это и есть у настоящих мужчин. От жалости тоже любовь рождается, но в ней больше от материнской любви. Мы, женщины, более наблюдательны, более проницательны. Я думала о моем лейтенанте, потому что, хотя я и молилась, но все успела заметить — и заметила, как он восхищенно смотрит на меня: какое-то детское, честное удивление было в его взгляде, совсем не такое, как у других мужчин. Ходил тогда один майор в собор — я даже познакомилась с ним — и тоже смотрел на меня. О, он совсем по-другому смотрел. Это совсем не такой взгляд. Когда я пришла домой, я долго разглядывала себя в зеркало. И я сказала себе: о Геленка, а ты ничего себе. На тебя можно смотреть с восхищением. И от этого у меня сделалось хорошее настроение. Я даже прибрала комнату, как на праздник, и даже напевала при этом.

В записи звучит польская песенка.

Давно у меня не было такого настроения. После смерти мамы у мене держалась вся семья. Моя старшая сестра тяжело болела, не вставала с постели, а отец был стар и тоже сильно болен. Я ездила к тетке на хутор за продуктами и не была в соборе целую неделю. Но мне очень хотелось повстречать моего лейтенанта, еще раз увидеть восхищение в его глазах. Я приехала в собор, чтоб помолиться. И, хотя я не признавалась себе в этом,— чтобы встретить его еще раз, только один раз. И я встретила его у входа в собор, и не знаю, хорошо это или плохо, но я сама подошла к нему.

На сцене польская девушка в трауре подходит к лейтенанту, некоторое время молча стоит за его спиной, потом нерешительно прикасается к его

плечу. Лейтенант оборачивается и узнает ее, двумя руками быстро хватая ее за руки и долго, молча, с детским восторгом смотрит на нее. Музыка в соборе усиливается, мощные звуки плывут над собором. Так они и стоят молча, как окаменевшие.

Геленка. Ну, что же пан поручник молчит? Он ведь хотел разговаривать со мной? Здесь можно разговаривать. Может, пан офицер разучился разговаривать? Что пан так крепко держит мои руки? Или пан боится?

Органная музыка постепенно стихает. Издалека раздаются звуки марша «Прощание славянки».

Пан слышит оркестр? Может, пан стал немой и глухой? Пан знает эту музыку?

М. л. лейтенант. Еще бы! Это марш «Прощание славянки».

Геленка. И пан знает слова... этого марша?

М. л. лейтенант. Слова? Я очень люблю этот марш, но слова не встречал. Да, кажется, их и нет.

Геленка. Я знаю слова. Я научу пана по-польску.

М. л. лейтенант. Но я же не знаю польского языка.

Геленка. Пан все поймет. Пусть пан слушает. Или пан не хце слушать по-польску?

М. л. лейтенант. Очень хочу. Только не зовите меня паном. Я — Федя. Младший лейтенант Федор Лалетин.

Геленка. Федор? По-польску Тадеуш. А я — Геленка. Гелена-Тереза. Сестры зовут меня Геленка.

Федор. Можно, я тоже буду вас называть Геленка?

Геленка. Пусть так. Пусть пан... пусть Федор... Тадеуш... слушает (*поет*):

Расшумялищем вежбы кветненцы,  
расплакашащем дивчина в глос,  
очи од лес подъемля блещенцы  
на жолнежа, на твардый его лоск.  
Не шлице, вежбы, нам  
жалю, цо сердце рве.  
Не плачь, дивчина ма,  
бо нам на войне не есть зле.  
До танцу грают нам  
гранаты, сталь и щеньк.  
Смерть косит нибы лан,  
но мы не вем, цо то есть вомк.

Розумишь? Понимашь?

Федор. Удивительно! Почти все понимаю.

Геленка. Не удивительно, Федор! Польский и русский языки — как брат и сестра. Елена, Геленка и Федор — Тадеуш — тоже брат и сестра. Елена-Геленка и Федор-Тадеуш любят друг друга как брат и сестра.

Федор. Нет, Геленка, я не хочу как брат и сестра. Я тебя люблю по-другому.

Геленка. Как по-другому, Федор?

Федор. Сейчас скажу, Геленка. Давай помолчим немного. Дай мне опомниться. Я так рад, что увидел тебя. Мне так хорошо с тобой.

Геленка. Как — по-другому, Федор?

Федор. Ладно. Сейчас скажу. Нет, лучше покажу. Иди сюда.

Берет ее за руку и ведет на холм возле собора, на вершину холма.

Геленка. Куда ты меня ведешь? Что то есть? Что то есть, Федор?

Федор. Сейчас все поймешь.

Геленка. Езус Мария! Езус Мария!..

Федор. Стой здесь. Стой и не двигайся. *(Отходит от нее на 2—4 шага).*

Геленка. Что то есть? Что то есть, Федор? Мне страшно..

Федор. Вот так. Теперь слушай. Слушай, Геленка. Ты для меня — как Мадонна. Там, в соборе, у которой ты молилась. Ты такая же чистая, добрая. Ты — Мадонна.

Геленка. Езус Мария! Езус Мария! Что ты говоришь, Федор! Там — не Мадонна, там — Матка боска! Матка боска Ченстоховска, Крулева польска! Много веков она спасает Польшу, и теперь спасла от немцев. Езус Мария, Езус Мария, какой грех, какой грех! *(Опускается на колени, начинает молиться).*

Федор *(пытаясь поднять ее)*. Нет, что ты говоришь! При чем тут матка боска? Это мы спасли Польшу, это наши солдаты... и ваши тоже...

Геленка. Не подходи! Ты сделал грех. Я молюсь за тебя и за себя. Тераз — теперь — нельзя разговаривать.

Федор. Да что это такое! Опять нельзя разговаривать! То разговаривай, то не разговаривай... *(Отходит в сторону, садится на скамейку, задумывается. Геленка продолжает молиться, потом подходит к Федору и молча садится рядом с ним).*

Геленка. Какой ты странный, Федор... Первый раз такого встречаю. Ты совсем не похож на других.

Федор. Это каких еще других?

Геленка *(кокетничает)*. Ну, Ирек, напшиклад...

Федор. Это какой еще Ирек?

Геленка *(продолжает кокетничать)*. Ну, наш сосед... мы в одном доме живем. Маленькие играли вместе. А теперь — ходим на шпацер, гулять, и в кино. И он меня провожает. Ирек никогда не говорит, что любит меня. Даже когда целует.

Федор. Что? Я убью твоего Ирека. И тебя убью. Только еще раз поцелуйтесь.

Геленка. Езус Мария! Езус Мария! Ты какой-то бешеный, Федор! Он только один раз поцеловал меня. Другой раз я не позволила. Я сказала: «Ирек, только дружба, не любовь!»

Федор. И никакой дружбы! Все. Точка.

Геленка. Цо? Цо? Ты не знаешь польских кобет! Польских женщин не знаешь, Федор! Я еще не сказала, что люблю тебе!

Федор. Я еще тоже не сказал. Сейчас скажу. По-русски. Нет. Лучше покажу.

Геленка. Как это — по-русску? Цо то значит, Федор?

Федор. А вот что *(обнимает и целует ее)*.

Геленка. Матка боска, матка боска *(вырывается, отбегает от него, поворачивается лицом к собору и начинает молиться. Молится и плачет)*.

Федор *(подбегает к ней, пытается поднять)*. Кончай, Геленка! Нет никакой матки боски! Нет никакого бога!

Геленка. Там есть *(показывает рукой на собор)*. Там есть! *(Показывает на небо)*. Ты сам видел — есть. Теперь нельзя разговаривать. Пусть пан молится матке боске.

Федор. Этого еще не хватало.

Нарастая, звучит органная музыка.

Геленка *(подходит к Федору)*. Я никогда не смогу быть с тобой, Федор. Розумишь? Никогда. Даже если ты пшинешь нашу веру. Станешь католиком.

Федор. Что? О чем ты говоришь? Я — советский офицер! Я... Я... кандидат в члены партии! Ты примешь нашу веру. Ты станешь комсомолкой.

Геленка. Никогда, Федор. Не можно это. Никогда. Езус Мария, Езус Мария... Ты не знаешь, кто есть я. *(Плачет.)* Ты ничего не знаешь! Если знал, ты не подходил бы ко мне, Федор! Никогда.

Федор подходит, обнимает ее, жалеет, успокаивает.

Федор. Я знаю, что я люблю тебя. И никогда — слышишь, Геленка? — никогда не оставлю тебя. Клянусь!

Геленка. О матка боска, не слушай его. Он не розумит, цо говорит. Нельзя говорить это, Федор. Тут, перед маткой боской, нельзя. Тераз — теперь — я — как невеста твоя. Я не могу быть невестой, Федор. Никому. Никогда.

Федор. Можешь и будешь, Геленка. И не невестой, а женой моей будешь. На всю жизнь. Навсегда. Розумишь?

Геленка. Не хцем розумить. *(Отходит от Федора, вытирает слезы, приводит себя в порядок, опускает вуальку и, подняв голову, внешне спокойно, даже с достоинством, говорит ему.)* Прощай, Федор. Больше не будет у нас спотканий... Свиданий. Прощай.

Издали доносится марш «Прощание славянки».

Федор. Наши уходят. Скоро я тоже уеду на фронт. Но я вернусь. Ты будешь ждать меня. Я обязательно вернусь.

Геленка. На фронт? Когда, Федор?

Федор. Откуда я знаю? Может — завтра. Все, вылезился. *(Пауза)*.

Геленка *(подходит к Федору, берет его за руку, ведет)*. Идем. Идем. *(Они входят в собор, садятся на скамью)*. Слушай, Федор, слушай.

В записи звучит «Аве Мария» Шуберта, прекрасный женский голос.

Федор *(шепотом)*. Что это? Разговаривать можно?

Геленка. Немножко можно. Это певица из Варшавы. Это — на восстановление разрушенных храмов *(опускает монету в церковную кружку. Федор делает то же)*.

Они молча слушают. Неожиданно Геленка берет руку Федора и кладет ее себе на грудь.

### КАРТИНА ТРЕТЬЯ

Госпитальный двор. Виднеются контуры собора. Группа выздоравливающих раненых: Оптимист прохаживается взад-вперед, быстро, энергично; Философ читает книгу; Циник просто сидит на скамейке, откинувшись на ее спинку; Наивный (мы узнаем в нем мл. лейтенанта Лалетина) что-то записывает в блокнот; Скептик с любопытством наблюдает за ним. Все они в госпитальных пижамах.

Циник. Итак, молодой человек, мы влюбились. Это прекрасно! Надеюсь, вы не станете держать от нас в тайне объект вашей любви и дальнейшее развитие романа? Не сомневаюсь: предстоят интереснейшие приключения. Это хоть как-то скрасит нашу жизнь в этой чертовой больнице. Излечившись от ран телесных, мы здесь, кажется, начинаем понемногу погибать от скуки...

Наивный. Я только о ней и думаю. Только о ней могу говорить теперь. Если бы вы видели, какая она красивая, умная, добрая и печальная! Есть в ней что-то от мадонны, там, на иконах в соборе. И еще от блоковской Незнакомки. И потом... этот траур... Здесь есть какая-то тайна.

Циник. У всех женщин всегда есть много разных тайн. Со временем вы их все разгадаете и убедитесь, как и я, что никаких... впрочем, не будем опережать события. Я вам очень завидую. Не сомневаюсь, что появились новые стихи?

Наивный. Да вот... написал... Но все это так бледно... Совсем не передает того, что я теперь чувствую.

Циник. Не скромничайте. *(Оптимисту)*. Капитан, перестаньте болтаться, как маятник. Идите сюда. Давайте все послушаем нашего поэта, кто знает, может быть, будущую новую славу России. А, черт, Любаша идет загонять в пала-

ты. *(Входит медсестра.)* Товарищи офицеры! *(Все встают.)* Товарищ медсестра Люба! Вверенное вам подразделение продолжает курс лечения в полевом госпитале. За время вашего отсутствия никаких чрезвычайных происшествий не произошло, за исключением: находящийся на излечении младший лейтенант поэт Федор Лалетин получил новую жестокую травму, без памяти влюбился в некую неизвестную гражданку иностранного подданства и написал по этому поводу стихи. Есть предложение прослушать стихи и дать молодому неопытному Ромео необходимые наставления в соответствии с боевым Уставом для проведения наступательных операций. Докладывает гвардии майор Северцев.

Люба. Вольно! Все шутите, товарищ майор.

Циник. Никаких шуток. Младшему лейтенанту Лалетину удивительно повезло: он встретил красивую, умную, добрую и, заметьте, чистую девушку. Мадонну. Такое редкое сочетание положительных качеств в одной женщине производит на нас, мужчин, сильнейшее воздействие, нечто подобное залпу «катюши». Кто и как может устоять и не влюбиться! Я бы сразу по уши влюбился.

Люба. С первого взгляда? Разве может быть любовь с первого взгляда?

Циник. Может быть. Я много раз влюблялся и, заметьте, всегда с первого взгляда. *(Все смеются.)*

Философ. Французский философ Лабрюйер сказал: «Труднее всего исцелить ту любовь, которая вспыхнула с первого взгляда».

Циник. Ну, я — не Лабрюйер, я — Северцев.

Люба. Ну, как вы влюбляетесь, товарищ Северцев, всем сестрам в госпитале известно. *(Федору.)* Это правда, Феденька?

Наивный. Абсолютная правда, Люба! Я люблю ее и... я не знаю, что сделаю, если она не ответит на мою любовь. Я застрелюсь.

Циник. Стреляться не следует. Она обязательно ответит на вашу любовь, младший лейтенант. И я научу вас, как этого добиться. Есть много способов воздействия на женщину. У меня богатейший опыт в этих вопросах.

Люба. Да уж заметили. Ну, а все-таки, например, какие способы?

Циник. Любопытной Варваре нос оторвали. Кто же выдает противнику военные секреты, Любаша?

Люба. Это я — ваш противник?

Циник. В данном случае — да. Более того, вы — крепость, которую предстоит взять. И заметьте: осада еще не снята.

Люба. Ну, на эту тему вы уже получили от меня довольно убедительные разъяснения.

Ц и н и к. И не один я. Заметьте: отчаянная атака младшего лейтенанта, кажется, тоже захлебнулась. Правда, ему вы объяснили более вежливо.

Л ю б а. Да-да, Феденька. Вы ведь мне тоже посвящали стихи?

Ф и л о с о ф. Русская женщина декабристка Мария Волконская писала о Пушкине: «Как все поэты, он считал своим долгом влюбляться в каждую хорошенькую женщину». Не будьте так строги к Федору — он поэт.

Н а и в н ы й. Да... я... пишу стихи... о вас, Люба, о моих товарищах. Я вас всех очень люблю. Вы — герои, больше, чем все герои античности. В детстве моим любимым героем был Джордано Бруно. Он отрицал бога, и его сожгли в Риме на площади Цветов. Он сгорел, и люди поставили ему памятник. А сколько наших танкистов сгорает в танках, и мы даже не всегда знаем их имена! Но они не считают это подвигом, не думают об этом. Они просто защищают Родину.

Л ю б а. Ну, прочитай, Федя, свои новые стихи.

Н а и в н ы й. Я написал о вас, Люба, и о товарище капитане. Это как бы от вашего имени (*читает*):

Ты без конца глядишь в окно  
на пыльный и пустой задворок,  
а чуткий градусник давно  
кричит тревожно: сорок, сорок!  
И ты опять горишь в огне,  
и не открыть стального люка...  
Как тяжело бывает мне  
унять твои большие руки!

Но это только так, набросок. Мне очень трудно писать об этом: ведь я сам не горел в танке...

Л ю б а. Мне очень нравится... Ну, а все-таки, Федя, кто она — ваша любовь?

Ф и л о с о ф. Он посвятил ей стихи и как раз собирался прочитать нам. Пусть прочитает. Давай, Федор! Давно я не слушал твоих стихов. Давай еще!

Н а и в н ы й (*читает*).

В немом коленопреклоненье  
она стоит у алтаря,  
и на лице ее зря  
надежды, веры и смиренья.  
Мне жаль тебя, мое дитя,  
горячих слез, тобой пролитых,—  
ведь никогда не долетят  
и не дойдут твои молитвы.  
Он — сказка, нет его нигде,  
он никогда не отзовется,  
и отзвук чувств твоих найдется  
лишь на земле, среди людей...



Л ю б а. Так она... что... полячка? И... верующая?

Н а и в н ы й. Да, полячка. А что, разве нельзя влюбиться в полячку? А если она красивая, умная, добрая, чистая — как мадонна!

Л ю б а. Ну, почему нельзя? Как говорят, любовь зла, полюбишь и козла. Но неужели у нас в России нет красивых, умных и добрых девушек?

С к е п т и к. Красивые вообще не бывают умными и добрыми. Сколько я их ни встречал — всегда пустые и самолюбленные эгоистки.

О п т и м и с т. Чепуху говоришь, лейтенант. Почему это красивая женщина не может быть умной и доброй? Я могу оскорбиться за свою жену. Вот возьму и вызову тебя на дуэль. (*Философу.*) Вы согласны быть моим секундантом? А ну, становись к барьеру, красивый и умный... чистый...

Ц и н и к. А, не принимайте его всерьез, капитан. Посмотрите в зеркало, лейтенант, и вы поймете, почему красивые женщины не проявляли к вам добрых чувств. Что касается меня, то я всегда любил только красивых женщин. И они всегда, за редким исключением, заметьте, за редким исключением, были добры ко мне и отвечали взаимностью. Красота — главное достоинство в женщине. Все остальное не имеет значения. С красивой женщиной можно пойти куда угодно. В театр, в ресторан, в гости. Просто идти по улице. Все восхищаются, оглядываются: вот это да, черт возьми! Даже завидуют. Думают: значит, что-то в нем есть, раз такая его полюбила. Вот посмотрите: вот я беру Любашу под руку. (*Люба вырывается.*) Нет, Любаша, это я так, для примера. Просто хочу показать. Известно, что лучше раз показать, чем сто раз рассказать. Вот мы идем. (*Люба недоверчиво, иронически идет с ним.*) Разве это не прекрасно? И — какое имеет значение, добрая она или умная, или какая еще там? Теперь смотрите: я объясняюсь ей в любви. Я целую ее. Как это прекрасно! (*Люба вырывается.*)

Л ю б а. Ну, хватит показывать. (*Все смеются.*)

Ц и н и к (*продолжая*). А если рядом с тобой некрасивая — тогда что? А тогда это подозрительно. Люди думают: что это он с крокодилком идет? Тут что-то неладно. Или на деньги польстился, или неполноценный какой-то, или еще что...

С к е п т и к. Ну, это если по улице пройти или в театр. А если всю жизнь жить, детей воспитывать, тогда как?

Ц и н и к. И жить лучше с красивой, чем с некрасивой.

С к е п т и к. Не-ет... Я-то уж знаю. Красивая не может быть умной и доброй. И верной женой не может быть. Это уж я знаю, по собственному опыту. Была у меня красивая жена... Ну, намучился я с ней. То один поглядывает, то другой подкатывается, то третий подлазит... Только и следы,

только и следи. Уж как я следил, а все же убежала к другому. Я из-за нее теперь вообще на женщин смотреть не могу.

**О п т и м и с т.** Не понимаю — как это? Жить с человеком, с женой, как говорится, и следить за ней, как последний шпик! Чепуха какая-то. Я тоже в свою жену как-то вдруг, сразу влюбился. Направили в батальон медсестру. Смотрю — ничего себе, будь здоров. Все, как говорится, при всем. Все на своем месте. Определил я се... поближе чтобы была. Ну, что скрывать, как говорится, для себя определил. Ну, проходит время. Вызываю ее к себе. Приходит, докладывает, как положено. Я спрашиваю, интересуюсь: как, что. А сам одурел, черт его знает, отчего. Чепуха какая-то. Уж в каких передрягах ни бывал, а головы не терял. А тут — аж круги в глазах. Чепуха какая-то. Ну, что тут скрывать? Полез я к ней со своим мужским одиночеством. Неправильно полез. Понимаешь, говорю, Леночка, война есть война. Тут не до стихов, не до цветов. Сегодня живой, а что завтра будет, неизвестно... А сам все поближе да поближе... Ну и... перешел дозволенное. Чепуха какая-то. Тут она как врежет мне! И именно с этого момента я ее сильно полюбил. Зауважал сразу и навсегда. Вот это, думаю, женщина! Не баба какая-нибудь. Сильно она мне врезала, и говорит: «Вы, товарищ капитан, умирать собрались, так хоть умрите человеком, а не скотиной последней». Да, здорово она меня перевернула. Задумался я. Идите, говорю, товарищ медсестра, вы свободны. Больше я ее не вызывал и вообще стороной обходил. Да... На Одере пошли в наступление, снаряд чуть не рядом разорвался. Контузило меня, землей засыпало, живой в могиле оказался. Отрыла она меня, как говорится, с того света вернула. Ногти в кровь содрала, плачет, целует меня, зовет: «Товарищ капитан! Товарищ капитан!» Я вот теперь думаю: может, я только для этих минут и жил до этого? Чепуха какая-то...

**Л ю б а.** Ну, а как вы объяснились с ней — в любви?

**О п т и м и с т.** Этого не было. То есть, объяснений никаких не было. Как говорится, нечего объяснять, когда все и так ясно. Ну... без нее теперь я жить не могу. Не смогу. Чепуха какая-то.

**Ф и л о с о ф.** Один французский писатель сказал: «Те, кто хвалят женщин, знают их недостаточно. Те, кто ругают — не знают вовсе».

**Ц и н и к.** Я женщин только хвалю. Но не сказал бы, что не знаю их. Во всяком случае, от меня женщины не уходили. Я уходил. Сразу же. Заметьте — сразу же! — как только встречал женщину, более достойную любви. Но я всегда в кого-нибудь влюблен. (*Философу.*) Вы, майор, вчера приводили слова Блока — «только влюбленный имеет право называться человеком» — так, кажется? Замечательные слова!

Я их сразу запомнил. Да, только влюбленный может называться человеком, и никто больше. Это я по своему опыту знаю.

О п т и м и с т. Чепуха какая-то. Не знаю, как Блок лично решал эти вопросы, но вы, майор, пошляк. Если мягко выражаться.

Ф и л о с о ф. Французский композитор Берлиоз однажды сказал: «Пододнок, он видит в женщине только существо другого пола!»

О п т и м и с т. Ну вот, композитор — и то понимал!

Ц и н и к. Вы что, капитан, не мужчина, что ли! Наивность какая. Ну, ему (*показывает на Лалетина*) простительно, ребенок почти. А вы-то! Вроде бы вполне зрелый человек, боевой офицер. Я даже оскорбиться на такое не могу. Вы что, наверное, и своей жене никогда не изменяли?

Во время разговора во двор входит Геленка. Никто не замечает ее прихода, и она смущенно останавливается, как бы застывает на месте.

О п т и м и с т. Не смейте! Не трогайте мою жену! Да-да-даже (*начинает заикаться*), даже словом не смейте прикасаться! (*Угрожающе надвигается на Циника*).

Л ю б а. Вы что? Товарищи раненые, вам вредно, вам нельзя волноваться! Сейчас же все по палатам!

О п т и м и с т. Н-нет, н-нет, подожди, Люб-ба. Это с-серьезный мужской раз-з-говор. Эт-то прин-ц-ципиально. Чепуха какая... Б-бесполезно это вам раз-з-ьяснить, майор, а все-таки скажу, не для вас, а вот для него, для младшего: л-любимой из-з-менить, ж-женс из-з-менить — все равно, что Родине из-з-менить.

Ц и н и к. Ну, это демагогия. Тупая, дешевая демагогия. Если бы так было, то вся наша армия в предателях бы ходила, и войну давно проиграли бы. Нет, мужчина есть мужчина. И на войне, и в любви настоящий мужчина, заметьте...

О п т и м и с т (*перебивает его*). Чепуха какая... Нет, уж если ты близ-зкому, с-самому близ-зкому человеку верность сохранить не можешь, ч-что тогда говорить о в-высоких материях? И не мы с-с в-вами войну выигрываем, майор, не мы, а в-вот они (*показывает на Лалетина*). Нас много, а их б-больше в-всех, и воюют, и полегло б-больше в-всех. Именно их, и п-полюбить еще не успевших.

Ф и л о с о ф. Один поэт сказал...

Ц и н и к. Да перестаньте вы с вашими поэтами! От них все и идет. Понаписали целые горы о чистой любви, о верности, а сами, заметьте, сами как жили? У одного Пушкина если всех любовниц собрать, целый гарем получится. Или Есенин — и того чище...

О п т и м и с т. И П-пушкина не трогай! Не смей трогать Пушкина! Он на нашей стороне воюет. Не зря немцы его к-книги сж-ж-жигают. Он с нами. А т-ты, ты... Ребята, ребята! В-вот враг. С-слушай мою команду! Приготовиться! Все приготовить к рукопашному бою! *(У него начинается бред.)* Так... сейчас, сейчас... Делать всем, как я! Сейчас... с-сейчас... так... За Родину, за Сталина, за мной, вперед! *(Грохот боя врывается на сцену, разрывы снарядов, свист пуль. Вспышки разрывов рассекают вечерний полумрак. Все застыли, потрясенные происходящим).* Ребята! Ни шагу назад! Варобина ранили? Кондаков, Приходько, не оставляйте его! А-а!.. Лалетин, Лалетин!..

Н а в и в н ы й. Я слушаю вас, товарищ капитан!

О п т и м и с т. Лалетин! Принимай команду батальоном! Ни шагу, ни шагу назад! Темно как... Ченуха какая-то... *(Падает.)* Лена, Лена, где ты, Лена?

Люба и Геленка бросаются к капитану.

Г е л е н к а. Езус Мария! *(Берет голову капитана, прижимает к груди.)* Здесь я, здесь я, с тобой я!..

Л ю б а. Помогите, поддержите его!

Все, кроме Цинника, бросаются к капитану. Цинник смотрит с состраданием.

#### КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ

Внутренний вид типичного польского кабака военных лет. Слева — стойка кабатчика, рядом, за занавеской, вход в соседнюю комнату. Несколько столиков. Звучит песенка. За стойкой пан Кавалек, неопределенного возраста. У стойки — младший лейтенант Лалетин.

Л а л е т и н. Понимаешь, пан Кавалек, а вылечился и снова отправляюсь на фронт. Сейчас сюда придут мои товарищи, офицеры. Четыре офицера. Мы немного посидим, поговорим, попрощаемся. Понимаешь?

К а в а л е к. Розумим. Пан подпоручник снова здоров, снова идет на войну. Тераз пшидут его товажищи. И — по пан хце?

Л а л е т и н. Ну, немного водки и все, что к этому полагается. Понимаешь?

К а в а л е к. Розумим. У пана подпоручника есть злоты?

Л а л е т и н. Денег у меня нет. Но я могу предложить *(снимает с руки часы)* — вот.

К а в а л е к *(берет часы, разглядывает)*. Добже, пан, добже. Вот водка *(ставит на прилавок бутылку. Уносит часы и запирает шкаф, кокетливо напевая при этом)*. Мам часики, мам часики... Может, панам офицерам нужны панинки? У меня есть знакомые панинки. Бардзо пенькны... как это... очень красивые.

Л а л е т и н. Нет, панинок не надо. У нас будет одна девушка — наш товарищ, медсестра Люба.

Кавалек. Одна — мало. У меня есть красивые панинки — для танцу. Для кохания есть панинки. Бардзо пенькны. Напшиклад, Анна Будник, Гелена-Тереза. О! Прима! *(Целует свои пальцы.)* Они не берут много злотых. Так, немного. Пан подпоручник розумит? Война. Трудно, совсем трудно млодым панинкам. Они пшиходят, кушают, танцуют, кохаются. Нужно немного злотых. Розумим, пан подпоручник?

Лалетин. Постой! Как ты сказал? Гелена-Тереза? Какая Гелена-Тереза? Что ты мелешь?

Кавалек. Не мелем, пан подпоручник, не мелем. У ней умерла мама, брат погиб на войне, отец болен, сестра больна, ей тенжко. Она здесь у меня... как это?.. немного працует... работает *(сопровождает разговор непримичными жестами)*. О! Пан подпоручник не видел Гелены-Терезы! Это... Мадонна. Бардзо пенькны! Пан подпоручник будет очень доволен.

Лалетин. И ты знаешь адрес этой... Гелены-Терезы?

Кавалек. Вем, пан подпоручнику. Вем: Ютова, 13.

Лалетин. Ты лжешь, Кавалек. Не может этого быть. Не может этого быть! Так она что... проститутка? Говори — проститутка? *(Надвигается на Кавалека)*.

Кавалек *(испуганно отступает)*. Не проститутка, пан подпоручнику, не проститутка! Так... немного танцует, немного кохания... Война! Жить тенжко, надо жить... Да вот она сама идет. Гелена...

Лалетин напряженно ждет, смотрит на дверь. Входит Геленка.

Геленка. Дзень добжи, пан Кавалек. Дзень добжи, пан офицер *(узнает Федора. Некоторое время смотрит молча.)* Федор? О, Езус Мария! *(Федор с ужасом смотрит на нее)*. Зачем ты тут, Федор?

Лалетин. Я знаю, зачем я здесь. А вот зачем ты здесь?

Геленка. Мам дело до пана Кавалека.

Федор. Пан Кавалек! Выйдите ненадолго!

Кавалек *(уходит, все еще испуганный)*. Добже, добже, пан подпоручнику!

Федор. Какое же у тебя дело до пана Кавалека, Гелена-Тереза?

Геленка *(напряженная, но стоит прямо, держится кое-как)*. Это мое дело, Федор.

Федор. И ты часто приходишь сюда?

Геленка. Ходзила... Тераз пшишла сказать: больше не пшиду. Никогда.

Федор. Так это правда?

Геленка. Цо правда? Цо правда, Федор? *(Отворачивается, смотрит в сторону)*.

Федор (*подходит к ней, поворачивает к себе ее лицо*).  
Смотри мне в глаза, Геленка. Скажи, что это неправда.  
Ведь неправда, неправда все это?

Геленка. Езус Мария! Езус Мария! (*Не выдерживает, плачет горько, вся сотрясаясь от рыданий.*) Никогда больше, Федор, никогда! (*Федор, потрясенный, молчит.*) Федор, не оставь мене! Бардзо прошем, не оставь! (*Федор молчит, как окаменелый. Геленка опускается на колени, целует ему руки.*) Ты говорил, любишь мене. Возьми с собой! Хоть на фронт, хоть в Сибирь... хоть куда возьми! Езус Мария! Езус Мария!

Входят капитан Мишин, майор Северцев, майор Кувшинов, лейтенант Затирухин, Люба. Все в военной форме, с боевыми наградами. У Мишина три ордена Боевого Красного Знамени, медали. У Северцева — орден Отечественной войны. У Любы — медаль «За отвагу». Входят, оживленно разговаривая, и останавливаются в недоумении. Геленка, увидев их, поднимается, держась прямо, высоко.

Северцев. Вот это да! Ну, младший лейтенант, я вижу, вы не теряли времени... Мне вас нечему учить. Такого и со мной не бывало. Заметьте: даже со мной. Сам, не скрою, стоял на коленях, добываясь снисхождения в расположении женщин. Но чтобы передо мной стояли на коленях — этого не было. Да вы только прикидываетесь эдаким скромным, наивным мальчиком. Сердцеед! Настоящий сердцеед!

Затемнение. Когда свет загорается, офицеры и Люба сидят за сдвинутыми столиками. Пан Кавалек за стойкой. Тихо звучит танго.

Затирухин. А что я говорил? Вот тебе и красивая, вот тебе и чистая, и Мадонна! А на поверку? Обыкновенная проститутка. А ты? «Ах, ах, ах, Пушкин, ах, Блок!..» Вот тебе и любовь с первого взгляда, вот тебе и верность на всю жизнь! Вот тебе и...

Лалетин (*молча, с ожесточением смотревший на него, вдруг изо всех сил бьет кулаком по столу*). Заткнись ты, зануда! Это еще неизвестно! Это все неправда! Неправда! Не может этого быть!

Затирухин. Ну да, неправда! Я тоже так думал. Нет уж, теперь-то я знаю. Досыта нахлебался со своей женой. Тоже красавица была.

Лалетин. Заткнись ты со своей женой! Не мог женой командовать, а как взводом командуешь? Как тебе взвод доверили?

Затирухин. Ну ты, не очень... Я все-таки старше по званию.

Лалетин. Что?! Подумаешь, на одну звездочку больше — значит, и ума больше, да? Так, что ли? И я тебя за это уважать должен, да? Уважать? (*Наступает на него*).

Люба (*стучит вилкой по стакану*). Товарищи раненые, прошу в палату! (*Все смеются*).

Мишин. Уважать его, как старшего по званию, товарищ младший лейтенант, вы, конечно, должны. Так Устав требует, и правильно требует. И на этом армейская дисциплина держится. А то вы так д-дойдете, что и меня, и майора не будете признавать. А там, глядишь, и п-приказы выполнять перестанете. Чепуха к-какая-то. Как человека — это другое дело. Тут бывает так, что и старшему по званию по морде дашь. Но не об этом речь. Тут кон-кретный факт. Любовь. У Федора и Елены — любовь. Это факт. По всем данным факт. Теперь. Раз она сама призналась, что ходила сюда — это тоже факт. Теперь вопрос: может такая быть любимой и женой? Вот о чем речь. Может он ее любить?

Лалетин. А я уже люблю. И... она меня любит. Я без нее жить не могу.

Кувшинов. Истории известны такие случаи. Поэт и друг Герцена, Николай Платонович Огарев, после того, как от него ушли две жены, зашел однажды в портовый кабачок в Лондоне. И там встретил проститутку. Он пошел к ней и остался с ней навсегда. И она была ему верной женой. Восемнадцать лет прожили. Другой случай. Древнеримский поэт Проперций мирился с тем, что его возлюбленная была ему неверна, и продолжал ее любить, и даже считал, что для прочности любви нужна измена. Вот как он писал (*вынимает записную книжку*): «Если ж в забавах любви провела ты ночь-другую, право, не могут смутить эти меня пустяки». Или вот еще: «Ты как угодно живи, только не будь мне чужой» (*увлекается*). Или вот еще...

Северцев. Довольно, Серафим Павлович. Мы не в Древнем Риме, а в Польше. И заметьте — в двадцатом веке. Вот, мне уже за тридцать, а я не женат. А почему? Было время, и я был таким, как младший лейтенант. Мечтал о чистой любви и обязательно хотел жениться, — извините, Люба, — на невинной девушке. Но мне не повезло. Я такой не встретил. Мне женщины всегда говорили: «Ты у меня второй». Только второй! Так я всю жизнь и хожу вторым. Как царь Николай.

Люба. Значит, с такими женщинами встречались.

Северцев. Что-то я других не видел.

Люба. Плохо смотрите. Или не туда, куда надо, смотрите.

Северцев. Да я в ту сторону давно уж не смотрю.

Издали доносится марш «Прощание славянки». Все смолкают, задумываются.

Люба. Ну, что-то все загрустили. Да разве так провожают? Давайте, я скажу тост!

Северцев. Давай, Любаша! (*Все поддерживают*).

Люба (*поднимается*). За большую и верную любовь!

Северцев. Ну, Любаша, вы с младшим лейтенантом — два сапога — пара: подавай вам только большую и верную. А если не получится большой и верной, тогда как?

Люба (*подходит к Федору, садится рядом, гладит его по волосам*). Получится. Верно, Феденька? Пусть первая любовь не получилась — все равно найдем большую и верную!

Лалетин. Я уже нашел, Люба.

Люба. Нашел, значит? (*Задумывается*).

Северцев. Ну, давайте! За большую и верную. (*Пьют*).

Люба. Эх, гитары нет! Спела бы я свою любимую!

Северцев. В таком заведении это должно быть непременно. Пан Кавалек!

Кавалек. Цо пан хце?

Северцев. Принеси-ка гитару!

Кавалек приносит гитару, отдает ее Северцеву.

Кавалек. Пшепрашем, пан офицер.

Северцев (*передает гитару Любе*). Давай, Любаша!

Люба, аккомпанируя себе, поет: «Гори, гори, моя звезда», Северцев подпевает красивым мягким баритоном. Все аплодируют.

Мишин. В-все-таки это любовь. У Федора и Елены — любовь. Факт. А настоящая любовь не отступает. За нее бороться надо. Ты вот ч-что, Федор: не отступай. Раз любишь — не отступай. Чистенькую-то каждый полюбит. Ч-чепуха какая! Неизвестно, что еще потом из этих чистеньких получается. А тебе вот такое выпало. Таковую полюбил. Так люби до конца. Подними ее любовью, очисти ее. Для этого любовь и существует.

Затирухин. Ну, из этой чистой не сделаешь. Я-то уж знаю.

Мишин. Эх, Затирухин! Все-то ты знаешь... и... н-ни черта не знаешь. Ч-чепуха какая... Тоже мне, философ! Налетел раз в жизни — и носишься со своим нытьем, других заражаешь. Ты это прекрати! Держи при себе. Да ты что... А вот меня другое интересует: как люди до такого доходят, что другими людьми торгуют. (*Смотрит на Кавалека*.) Он ведь и проценты с них берет. Пан Кавалек!

Кавалек. Цо пан хце?

Мишин. Подойди сюда! (*Кавалек подходит и стоит в некотором отдалении, угловато, настороженно*.) Ты вот скажи мне, как ты до такой жизни дошел?

Кавалек. Не розумим. Не розумим — цо пан офицер хце?

Мишин. Ишь ты — сразу розумить перестал? Я спрашиваю, как ты додумался девушками торговать? Самогон-



кой спекулируешь — черт с тобой, спекулируй. А зачем девчонку губишь? У тебя дочь есть? Ее тоже продаешь? Сколько стоит твоя дочь? Как это у вас — иле куштуе твоя дочь?

Кавалек. Не розумим, пан офицер. Не розумим. Цо «иле куштуе»? Цо «иле куштуе»?

Лалетин. Я ему разъясню. *(Выходит из-за стола.)* Я ему по-русски разъясню! *(Бросается на Кавалека. Северцев, Кувшинов удерживают его. Кавалек убегает за стойку.)*

Мишин. Отставить, младший лейтенант! Ну, Кавалек, молись своему богу, что ты — поляк. Черт его знает, откуда такие берутся! Ч-чепуха какая. Из госпиталя ехал через Польшу, на фронт — подходят к эшелону здоровые молодые парни, папиросами торгуют. Мы их страну освобождаем, а они папиросами торгуют. И этот ведь молодой еще. Ему бы в Войске Польском быть, на Берлин идти, а он девчонками торгует!..

Люба. Так у нас проводы и не получают. Разве можно так провожать?

Философ. Да, действительно. Давайте-ка выпьем за младшего *(наливает в стаканы)*. Будь живым, младший!

Все *(встают)*. Будь живым!

Северцев. А теперь — что-нибудь повеселее. Ну-ка, Кавалек, найди чего-нибудь веселое!

Кавалек. Зараз бендзе, пан офицер. Зараз! *(Ставит немецкую пластинку — «Ах, Роберт, ах, Роберт!»)*.

Мишин. Не то, Кавалек. Найди-ка нам русскую плясовую! Дай я сам посмотрю. *(Рассматривает пластинки.)* Вот, то, что нужно! *(Ставит пластинку)*.

Все выходят в центр сцены, становятся полукругом.

Затирухин *(как бы очнувшись от дум, поднимается из-за стола, выходит в круг)*. Дайте-ка я попробую! *(Смотрит на Лалетина.)* Зануда... Какой я зануда! Я в деревне самым веселым парнем был! Это меня жена перевернула... Э-эх! *(Пляшет русскую. Вскоре к нему присоединяется Люба, потом — Мишин, остальные хлопают в ладоши)*.

Люба *(пляшет и поет)*.

Посылала меня мать  
в огород за редькой,  
а я вышла за плетень,  
постояла с Федькой!

Проходя в пляске мимо Лалетина, легонько задела его рукой по носу. Затирухин наращивает темп, выкладывается до предела, все поддерживают его.

— Поддай, Сергей!

— А ну, еще прибавь!

Люба и Мишин уже вернулись в круг, а он пляшет все стремительнее, и вдруг, уже на пределе, сорвав сапог с ноги, с яростной удалью со всего размаха бьет им об пол.

З а т и р у х и н. Все!

Все одобрительно высказываются о его пляске:

— Ну, Сергей!

— Молодец!

— Вот дал!..

К у в ш и н о в. Русская душа!

Коль любить — так без рассудку,  
коль грозить — так не на шутку,  
коль ругнуть — так сгоряча,  
коль рубнуть — так уж сплеча!

Издалека снова доносится марш «Прощание славянки», вбегает Геленка, подбегает к Федору. Некоторое время молча стоит против него, они смотрят друг на друга.

Г е л е н к а. Прощай, Федор. Никогда больше не увидишь меня. (*Целует его испуленно, торопливо, жадно.*) Никогда! Никто не увидит меня больше! Прощайте все! (*Убегает.*)

Л а л е т и н (*кричит*). Геленка! Геленка! (*Бежит за ней.*)

#### КАРТИНА ПЯТАЯ

На сцене — то же, что и в первой картине. Слева на авансцене — Он, справа — Она.

О н а. Я простилась с Федором навсегда, потому что решила уйти из жизни. Я так устала, так сломалась тогда, что больше не было сил жить. Встреча с Федором сверкнула для меня яркой звездочкой надежды, возможности переменить свою жизнь. Он был человеком совсем из другого мира, совершенно непохожим на людей, окружавших меня. Встретившись с ним, я уже не могла жить, как жила. Я уверилась, что только он один может спасти меня. Крушение этой единственной надежды казалось мне тогда окончательным крушением всей моей жизни. Но я была верующей католичкой, и не раз слышала, как отец Амбросий утверждал, что все самоубийцы идут в ад на вечные муки. Страшно мне стало. И я решила прежде, чем уйти из жизни, исповедоваться у отца Амбросия, посоветоваться с ним, как быть. Больше мне обратиться было не к кому.

На сцене в соборе появляется о. Амбросий и проходит в исповедальню — кабинку с решетчатым окошечком. В собор входит Геленка, подходит к исповедальне, становится на колени перед окошечком.

Я рассказала все отцу Амбросию, и он сказал, что мой грех не так уж велик, его можно замолить. И подтвердил

еще раз, что самоубийцы идут прямо в ад, на страшные муки. Он сказал мне, что нужно делать, и я сделала, как он велел.

На сцене Геленка поднимается с пола и уходит в глубину собора, исчезает во мраке. О. Амбросий выходит из исповедальни, направляется к выходу из собора. Навстречу движется пан Кавалек, целует руку, и тот благословляет его. Потом они некоторое время разговаривают, и видно, что Кавалек встревожен, напуган чем-то. А ксендз его успокаивает, показывает в глубину собора.

Я не знала тогда, что отец Амбросий был связан с Кавалекком. Он высматривал в соборе красивых верующих девушек, узнавал о них все на исповеди, о тех, кто попал в беду, сообщал Кавалеку, а тот заманивал их в кабачок и продавал богатым клиентам.

На сцене Кавалек, успокоенный, проходит в собор и молится у иконы. Ксендз тоже уходит в глубину собора, исчезает во мраке.

Он. После проводов в кабачке я искал Геленку и нигде не мог ее найти. Меня выписали из госпиталя, и, отправляясь обратно на фронт, в часть, я все-таки решил еще раз прийти в собор. Что-то неодолимо тянуло меня туда, где я встретил Геленку. Да я еще и надеялся встретить ее, попроситься с нею. Я любил ее еще сильнее. Но я был тогда во власти каких-то дремучих мешанских предрассудков, которые, может быть, живут еще и теперь, и предписывают нам, что невеста должна быть обязательно невинной, абсолютно добродетельной. Откуда-то из глубины веков, из домостроевского купеческого быта, что ли, идут эти предрассудки и все еще цепко держатся в нас, и слабые духом подчиняются им. Но идеальных людей нет, мы живем в мире, где идет жестокая борьба между добром и злом, между чистотой и пошлостью, и человек становится человеком в этой борьбе, любовь помогает ему стать человеком. Моя Геленка попала в грязь, но по своей сущности она все равно оставалась чистым, добрым, духовно богатым человеком. Ее можно было спасти, ей нужно было помочь. И это должен был сделать я. Я шел в собор, отчетливо осознавая, что, оставляя ее в такой беде, совершаю подлость, предательство по отношению к ней, к себе, к своей любви, что, отрекаясь от нее, я отрекаюсь от самого себя и никогда не прощу себе этого.

В собор входит Лалетин и провожающие его Северцев, Мишин, Кувшинов, Затирухин, Люба. О. Амбросий появляется из глубины собора справа и идет им навстречу.

Л а л е т и н. Добрый день, отец Амбросий.

О. А м б р о с и й. День добрый, пан сибиряк.

Л а л е т и н. Отец Амбросий, вы не видели здесь Геленку Терезу?

О. Амбросий (*торжественно*). Гелена-Тереза там. Она говорит с богом (*показывает рукой в глубь собора*).

Лалетин проходит в глубину, во мрак. Остальные остаются у входа слева. Луч солнца, прорвавшийся сквозь витражи окна, высвечивает лежащую крестом на полу перед иконой божьей матери Гелену-Терезу. Справа молится Кавалек. Грозно звучит органная музыка. Лалетин, пораженный, застывает на месте:

Лалетин. Геленка! (*протягивает к ней руки*).

Геленка не слышит. Она в религиозном экстазе.

О. Амбросий. Нельзя, пан подпоручник. Нельзя трогать ее — она говорит с богом. Нельзя прерывать молитву.

Лалетин (*не обращая внимания на Амбросия, бросается к Геленке, ложится с ней рядом на пол, очень осторожно, очень бережно прикасается к ее волосам, говорит вполголоса*). Геленка, Геленка, это я, Федор...

Ксендз и кабатчик в ужасе.

О. Амбросий. Какое святотатство!

Кавалек. В божьем храме! (*Бросаются к влюбленным*).

Мишин. Отставить! (*Амбросий и Кавалек застывают на месте*.) Не двигаться! Стоять на месте! Ч-чепуха какая. Не трогайте их. Это любовь. Факт.

О. Амбросий. Но... пан капитан, вы не имеет права! Я буду протестовать!

Мишин. Протестуйте.

О. Амбросий. Бог покарает вас.

Люба (*гневно вскрикивает*). Нет бога!

Кувшинов. Правильно, Люба. Нет бога выше любви человека к человеку. И разве (*к о. Амбросию*) ваш бог против любви? В Евангелии сказано: «Возлюби ближнего своего», не так ли?

Геленка приподнимает голову, осознает происходящее, в страхе отползает от Федора, поднимается, пьтится к решетке, ограждающей икону. Федор тоже поднимается, шатаясь, идет к ней, она пьтится от него все дальше и дальше, в глубь собора, во мрак, натькается на решетку, останавливается, держась за нее.

Геленка. Федор... Коханный... Никогда... никогда... (*плачет, смотрит на Федора с тоской, любовью, жалостью и отчаянием. Опускается на колени и начинает молиться*).

Федор. Геленка! (*Бросается к офицерам*.) Ребята! Да что же это такое! (*Обводит взглядом собор и видит Кавалека*.) И ты тут, Кавалек! Ты что тут делаешь? Богу молишься? Кто твой бог? Деньги, злоты? Ах ты, вражина!.. (*Бросается на Кавалека. Мишин, Люба, Кувшинов удерживают его*).

Мишин. Отставить!

Кувшинов. Держитесь, младший лейтенант! Вы — советский офицер, не забывайте об этом. Вы отправляетесь на фронт. Бейте их там! Там тоже они, только одетые в фашистские мундиры. Все эти лавочники, колбасники, попы — это они породили фашизм. Мы разгромим фашизм, добьем его в собственном логове. Но эти остаются, и их еще немало. И с ними нам еще воевать. Вот она, главная война! За человеческие души, за сердца, за умы.

Мишин (*ксендзу и Кавалеку*). Уйдите отсюда!

О. Амбросий. Как это?

Кавалек. Пан офицер, не можно так...

Мишин. Вон отсюда, чтобы духу вашего не было! (*Надвигается на них.*) Ч-чепуха какая...

Кавалек, а за ним и о. Амбросий поспешно покидают храм. Но останавливаются справа, у входа, напряженно наблюдают за происходящим в соборе.

Затирухин. Здорово вы их, капитан...

Кувшинов. Да, Василий Иванович, ты как Иисус Христос — изгнал торговцев из храма. В Евангелии от Иоанна сказано: «И, сделав бич из веревок, выгнал из храма их, также и овец, и волов, и деньги у меновщиков рассыпал, а столы их опрокинул».

Мишин. Ну, столы мы опрокидывать не будем. А бичом не мешало бы таких... погладить.

Издали доносится марш «Прощание славянки».

Северцев. Пора.

Люба. Давайте, и мы тоже выйдем. Пусть они побудут вдвоем. Пусть простятся. (*Выходят и останавливаются слева у входа.*)

Федор и Гелена-Тереза стоят и смотрят друг на друга. За сценой молодой звонкий голос запекает:

«Расшумялися вежбы кветненцы...»

Дружный хор таких же молодых голосов подхватывает:

«Не шлице, вежбы, нам...»

Гремит марш «Прощание славянки».

З А Н А В Е С

*Степан Садырг-оол,*

народный писатель Тувинской АССР

### **ЗВЕЗДА ЧУРГУЙ-ООЛА**

Рука врага тянулась к горлу Родины.  
Четыре года насмерть бились мы.  
И сколько сил, и крови сколько отдано,  
чтобы решить судьбу своей страны!

Велик народ: он не считался с жертвами  
во имя дружбы, мира и любви.  
Живыми рождено, добыто мертвыми  
единство человеческой семьи.

И ветераны битв в веснушках пороха,  
и юные, едва из детских лет,—  
все те, кому Отчизны имя дорого,  
на фронт рвались: служить родной земле.

Не всем идти на бой страна позволила —  
крепила тыл, чтоб фронт сильнее был,  
растила хлеб в полях, отары холила,  
все отдавала для святой борьбы.

Его из многих трактористов выбрала  
и в танковый, стальной послала строй,  
в броне, в огне, в грозе, в страде невиданной  
шел Чургуй-оол, наш воин, наш герой.

Закрылось солнце тучами свинцовыми,  
растерзанная, дыбилась земля —  
он шел вперед под градом стали кованой,  
для пашни он освобождал поля.

Кто в танковом, с ним рядом, экипаже?  
С кем каждой каплей крови был един?  
Там русский был, киргиз, эстонец даже,  
и говорят, что был еще грузин...

Я знаю точно: Чургуй-оол был ранен,  
кровь заливала зоркие глаза —  
ему повязку сделал русский парень,  
а Чургуй-оол —его перевязал.

И снова двинулись они в атаку:  
— За Родину!— был клич у них один.  
Врагов, как лютых змей, давили танком.  
Вперед, вперед — Победа впереди!

Да, довелось им жить в такие годы,  
когда, во имя жизни всей страны,  
героев каждый день рождать должны  
великие и малые народы!

И Чургуй-оол прославлен навсегда,  
и юность смотрит на него, мечтая,  
и на груди его, как солнце, золотая,  
горит пятиконечная звезда.



*Сергей Пюрбю,*

народный писатель Тувинской АССР

## **МОНУМЕНТ**

Гранитной поступью солдатской  
над Третьего-парком, над Берлином,  
взошел громадой гор Саянских  
сын Родины моей,  
степей моих орлиных.

Он меч тяжелый опустил.  
Усталый взгляд скользит закатом  
сквозь города, сквозь смерть, утраты,  
сквозь дым, сквозь порох и тротил...  
А на груди — одна награда:  
ребенок на груди солдата.

Погас в Европе шквал кровавый.  
Герой легендами воспет.  
Летают тысячи легенд  
по свету голубиной стаей.  
Десятилетия не старят  
величественный монумент.

Он — высший смысл  
солдатской славы,  
он — высший символ  
всех побед.

Ветра стряхнули пыль дорог  
с его плаща, с его сапог,  
и гарь боев дождями смыло  
с лица прекрасного его.  
Цветы восходят на могилах,  
весной восходят на могилах  
среди подтаявших снегов.



*Павел Железнов*

## СТИХИ ВОЕННЫХ ЛЕТ

\* \* \*

Листки перебираю боевые,  
поэзию окопного издания —  
стихи, что в битву шли, как рядовые,  
и умирали, выполнив задание.

### «Москау, адэ!»<sup>1</sup>

Не так, как их планы завоеваний,  
не вилами на воде —  
углём кто-то вывел на каменном здании  
два слова: «Москау, адэ!»  
Уже контратаками миф о блицкриге  
был выбит из их головы,  
тараном нагнал на них страх Талалихин  
в полупочном небе Москвы.  
Фашистских жандармов со смертью сосватав,  
итог подведя их делам,  
карающей бурей пронесся Доватор  
с полками по вражьи тылам.  
Панфиловцы встали незыблемым строем,  
и строй тот остался в веках:  
в бессмертье вошли двадцать восемь героев,  
гранаты сжимая в руках!..

---

<sup>1</sup> Москау, адэ! (Нем.) — Москва, прощай! (Прим. автора).



К воротам Москвы подступавшие роты  
бросают оружие в снег.  
И в бегстве хватило ума у кого-то  
с Москвой попрощаться навек.  
Фашистская надпись — сплошное унынье.  
Прочел ее нам комиссар.  
И тут же, под нею:  
«До встречи в Берлине!»—  
советский боец написал.

Декабрь 1941 г. Действующая армия.

### **День войны**

Рассвет облака окровавил слегка,  
на западе золото звезд потускнело.  
Разведчики, как привидения в белом,  
доставили к штабу полка «языка».  
Не смея расправить согнутой спины,  
фашист озирался с оскалом шакала...  
Разрывы снарядов встречали начало  
обычного дня необычной войны.

В двенадцать на пункт укрепленный напасть  
пытались враги под прикрытием танка.  
Провалом окончилась их контратака —  
тот пункт защищала гвардейская часть.

Под вечер пришли к нам посылки из тыла,  
и каждая сердцу приятна была.  
Так много хранили любви и тепла  
подарки людей незнакомых, но милых...

Сугробы закат окровавил слегка.  
Бескрайни, безбрежны просторы России...  
Давно уже в штабе полка допросили,  
давно уж отправили в тыл «языка».  
Чуть только сгустится вечерняя тень,  
разведка готовится к новому делу.  
Разведчики, как привидения в белом,  
уходят разведывать завтрашний день.

Февраль 1943 г. Действующая армия.

✠

## **СОТВОРЕНИЕ ПОБЕДЫ**

Когда свободе и свету  
фашизма мгла угрожала,  
— За нами будет победа!—  
партия так сказала.  
Все силы отдать победе  
Родина приказала,  
все судьбы людей с победой  
пламя войны связало.

— За Родину, за победу!—  
клич поднимал в атаку.  
В тылу, все беды изведав,  
ковали броню для танков  
матери и невесты,  
мальчишки, старые деды...  
Каждому было известно:  
все труды — для победы.

Дивизии проходили  
под Кремлем красноезвездным...  
Справедливой и грозной  
силой мы победили!  
Тяжкий молот победный  
твердыни врага сокрушил.  
Радости вдохновенной  
ветер нас закружил.

Рвущимся к свету свободы  
сумели мы передать  
большим и малым народам  
науку свою — побеждать.  
В горе были мы стойки,  
стойкими были в бою —  
пусть поднимаются стройки,  
славу миру поют!

1945 г.



*Леонид Чадамба*

## **КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ**

На Красную площадь смотрю: как парадна!  
Кремлевские звезды сияют над ней.  
Проходят по площади чудо-парады,  
потоки народа текут в Мавзолей.

Враг поднял надменно свой меч вероломный —  
и встала народная сила в ответ.  
Парадом на площади, строгой и скромной,  
был начат отчет богатырских побед.

В тяжелых сраженьях, в борьбе ежечасной  
дошел до Берлина советский солдат —  
и вот он проходит по площади Красной,  
торжественный, светлый, победный парад!

Идут полководцы. Шагают солдаты,  
по древней брусчатке печатая шаг,  
швыряют презрительно вражьи штандарты —  
свой суд над кровавой войною вершат.

Отчизна великая! Радостно празднуй  
победу и славу своих сыновей!  
Я сам это видел на площади Красной,  
в цветении лета, в столице Москве.

1945 г.



*Олег Сувакнит*

## **БАЛЛАДА О БУРЗЕКЕЕ**

Гневно строчит пулемет Бурзекея:  
знай, мол, фашист, ребят с Енисея —  
они не отступят ни шагу назад!  
...От взвода осталась горстка солдат.

Враг наступает... Все ближе он, ближе...  
Мины, снаряды — на головы, ниже...  
Вот он с землею окопы сровнял.  
Вот и последний товарищ упал.

Нету патронов. Противник рядом.  
— Вот вам последний подарок, гады!..—  
весь окровавлен, с гранатой в руке,  
навстречу врагам шагнул Бурзекей.

... Вспомнились вмиг Хондергея просторы  
и на войну торопливые сборы.  
Матери голос: «Сынок мой, держись!..»  
Шепот любимой: «Люблю!.. На всю жизнь!..»

Приказ Кечил-оола: «Сражайся, как надо!  
Живым не сдавайся! Друзья твои — рядом!»  
Табунщика слышит гортанную песнь:  
«Спасибо, что сбил ты с захватчиков спесь..»

...Так шел он к Победе, себя не жалея.  
Дошел до Берлина, до берега Шпрее,  
в воде ее мутной лицо сполоснул —  
и на Гнедом домой повернул.

Справа и слева — равнины России,  
Волга и Днепр — за спиной, позади.  
Вот и Саяны, сердцу родные...  
Здравствуй, Герой! Ты вернулся! Входи!

Грудь в орденах — глаза ослепляют!  
Весь Хондергей его поздравляет.  
Песни, улыбки, друзей голоса,  
милой жены, ребятишек глаза...

В мире счастливее нет Бурзекся!  
Щепчет он нежно:— Любимая, где я?  
Может быть, в небе, в сиянье надзвездном?..  
...Молния сердце пронзила железом.

Бронзой он стал. Обелиском застыл он.  
Отдал народу всю храбрость, всю силу.  
Сат Бурзексй, герой наш народный,  
стал для живых звездой путеводной.

✍

*Светлана Козлова*

## **РЕЙС**

*Поэма. Журнальный вариант*

«Сам погибай, а товарища выручай».  
(С у в о р о в. «Наука побеждать»)

1.

Дорога ты, дорога...  
Летят, накручиваясь на колеса,  
подъемы, спуски, резкие откосы,  
снега нисходят, и восходят росы,  
туман речной редет понемногу...

Сидишь и ждешь, спросить не смея:— Скоро?  
Сидишь, глазами меряешь просторы  
и запоешь, чтоб не вздремнуть шоферу:  
«Дорога ты, дорога...»

И голос будет звонок и беспечен,  
как будто путь и вправду бесконечен,  
лишь иногда стоянками отмечен  
минутными — задержат ненамного...  
И снова непрерывное движенье,  
и снова грусть, и радость постиженья...  
Дорога ты, дорога!

## 2.

— Ну, ребята, поехали!..— Из ворот  
раскатившихся в стороны с тихим звоном,  
выпускает машины автозавод.  
Только фары таращатся изумленно  
на еще не открытый, неизвестный путь,  
на котором не раз придется вздохнуть  
об оставленном цехе — об отчем доме,  
а иной раз, наверное, и всплакнуть,  
и на помощь позвать на трудном подъеме...

Крутолобые, крепкие, как бычки,  
беззаботно посверкивая боками,  
выезжают в дорогу грузовички,  
одинаковые, как все новички,  
чуть кичась перед пыльными «стариками».

Четырем из них путь лежит на восток.  
Четырем из них будет крут и жесток  
этот первый экзамен на труд и прочность:  
не холмы да пригорки — хребты Саян  
неприступной стеной на пути стоят,  
их не просто пройти...

Пройдет, кто захочет.  
А захочет водитель. Грузовики  
подчинятся уму и силе руки.  
Вот водители. Четверо. Это им  
мы негромкий, скупой рассказ посвятим.

## 3.

...Они идут колонной по шоссе.  
По сторонам — трава еще в росе.  
Еще не высушил покосы зной:  
не степь, глядишь, кругом, а рай земной!

Затор ли, что ли, на пути возник?  
Свернул с асфальта первый грузовик,  
проселок под резиной запылел...  
И трое остальных за ним пошли.

Не травы вдоль пути, не зелена,  
колосья не сгибаются, звеня,—  
шуршит сухая, жесткая стерня  
и обжигает памятью огня.

Взгляни, водитель: это ли не та,  
не сданная тобою высота?  
Не здесь ли, под землей, твои друзья  
который год лежат и ждут тебя?

Лучи в лицо и слезы — на глаза...  
Скрипят и резко стонут тормоза.  
Он спрыгнул на колючую стерню,  
хотел сказать: «Езжайте. Догоню».  
Но стала вся колонна вслед за ним,  
и выпрыгнули трое из кабин,  
и все пошли в неведомую степь,  
как будто опасаясь не успеть,  
как будто на подмогу звал их тот,  
у сизой высоты polegший взвод.

4.

«Мама! Письмо тебе пишет с дороги  
младший твой сын, непутевый Орлан.  
Папа, и ты, и сестра — педагоги...  
Я вам испортил семейный наш план.  
Знаю теперь, на меня ты в обиде:  
даже сдавать не попробовал в вуз!..

Столько я, мама, в дороге увидел —  
даже сказать обо всем не возьмусь.  
Знал я о жизни одни лишь названья —  
ну, а теперь стал намного взрослей.  
Очень мне нравится дядя Ваня,  
лучший из всех моих учителей.

Знаешь, мы были вчера в поле боя,  
где он был ранен лет сорок назад...  
Тут не история: поле живое,  
словно и я в этом поле — воин,  
словно и я — солдат...

Нравятся мне его сильные руки,  
нравится видеть его впереди.  
Учит он нас самой главной науке:  
быть человеком в пути».

5.

Степной элеватор; рабочий поселок;  
за стенкой лесной — заводская труба;  
и озере — синезеркальный осколок,  
и остров лесистый — березовый колок  
пад плоской равниною — вроде горба;  
и встречный помчался, немыслимо долог,  
всю степь закрывая, гремя и трубя.  
Летит он чудовищем в панцирной коже  
и только выстукивает на лету:  
— Я точно такой же, такой же, такой же,  
мы с вами похожи, похожи, похожи,  
я тоже, я тоже, я тоже, я тоже  
такою же точно дорогой иду-у!

Гляди да гляди и читай, словно повесть,  
что мимо мелькнуло, а что — впереди...

Расцветочный лозунгами агитпоезд,  
как в песне, «стоит на запасном пути».

6.

Пока на платформе стоят,  
брезентом укрыты, машины,  
о многом поговорят,  
неспешно и просто, мужчины.

Расскажет один о войне,  
другой — о детишках, о доме...  
В железном настойчивом громе  
дорога роднит их вдвойне.

### 7. Иван Алексеевич Аржанов.

Вот, мы сейчас увидим город...  
Я в госпитале в нем лежал.  
Что город, говорят, то норов...  
Нам что видать? Один вокзал:  
стоит, гляди, какой огромный!  
Многоэтажные дома...

А я совсем другое помню.

Была зима.  
Меня везли который месяц  
до этих мест с передовой.  
И довели. И я — живой.  
Но — ни рукою, ни ногой...  
Лежу, кулем с постели свесясь,  
и воли к жизни — никакой.  
То вдруг подумаешь: на черта  
и жить?.. А то — и мыслей нет...

Пришла в палату к нам девчонка.  
Так, десяти примерно лет.  
Тем под диктовку письма пишет,  
другому закурить свернет...  
А мне, гляжу, кiset сует,  
и танк на нем зеленый вышит!  
Уж эти танки! Я как раз  
такой и выполз — из-под танка...

А девочка не сводит глаз  
с меня. Героем ли, однако,  
ей показался, или как?

Лежал там, рядышком, моряк —  
уж он ли ей не улыбался,  
шутил и дочкой называл...  
А я совсем не поднимался.  
И глаз почти не открывал.

Но каждый день она ходила  
ко мне, как на уроки в класс,  
и все глядела, не сводила  
с меня серьезных серых глаз,  
и в них жила такая смелость,  
так славно было и светло...

И жить мне очень захотелось.  
Как на собаке, заросло.

## 8. Вячеслав Монгуш.

Нет, со мной такого не бывало.  
Я родился-то как раз в войну.  
У меня историй в жизни мало.  
Все-таки я расскажу одну.



Юрта моего отца стояла  
далеко от сел и от дорог.  
К нам пришла машина на стоянку —  
перекочевать колхоз помог.

Подкатила полуторатонка,  
встала возле скотного двора,  
фыркая, подобно жеребенку,  
напоить которого пора.

В школе я еще не обучался,  
было мне, наверное, лет пять,—  
ухватил ведро, на ключ помчался,  
чтоб скорей воды машине дать!

Мать меня пугала и ругала,  
не ходи, мол, близко к колесу!..  
Нет же — лезу, ну, куда попало  
лезу и «коню» воды несу!

В малыше таком — откуда сила?  
Все же дотащить хватило сил.  
Молодой шофер сказал: «Спасибо»,—  
и водой машину напоил.

С той поры... Да что тут разговоры —  
стоит долго рассуждать о том!  
Захотел шофером — стал шофером.  
Так сбывалось все. Всегда. Потом.

## 9. Дмитрий Рожков.

Он тоже глубоко запрятал историю в сердце одну.

Когда он служил солдатом, послали их на целину,  
точнее, в совхоз, на уборку: возил от комбайнов зерно.  
А помнится, ясно и горько, из целого лета — одно.

Московский певец знаменитый приехал с концертом в совхоз.  
Вот радость нежданная Мите! Не в записи привелось —  
живым услышать этот голос, он с детства недавнего люб...

Едва еще только смеркалось, солдаты пришли уже в клуб.  
Отмылись от пыли, половы, в начищенных кирзачах —  
готовы к концерту. Готовы к атаке на местных девчат.

Над сценой саманного клуба поплыл этот голос густой — сперва показалось, что грубо, потом, как медовый настой, и слушал-заслушался Дмитрий, кружилась слегка голова...

И вспомнил о песне нехитрой, в которой напев и слова — все будто как раз про шофера, про эту целинную степь...

Концерт уже кончится скоро: успеет ли это он спеть?

Солдат принимает решение: пока еще, вроде, светло, согнувшись, как кланяясь сцене, выходит из клуба в село. Рядами беленые хаты по улицам тихо стоят, дымят... И цветы, как солдаты, застыли в строю возле хат. Он в первый такой палисадник: взрастили же чудо в степи! Хозяева знают, что садят: есть деньги — иди и купи, а так... Он, без денег, — к другому: хоть ветку бы дали — за так!..

От дома саманного к дому пошел растревоженный гомон и перебранка собак...

И вот она, крайняя хата, на улице — в самом конце... Уже на селе темновато, вот-вот завершится концерт. Встречает старуха солдата. Одна. И суровость в лице.

— Мне, бабушка, хоть бы цветочек! Мне в клуб — понимаешь? — певцу!..

— А теплого хлеба не хочешь? А чаю? Сейчас принесу... Зайди... Он заходит, зажато. Углы пустоваты, темны. И парень в погонах сержанта глядит на него со стены. И женщина входит с цветами. — Спасибо... — смущенно умолк и слышит: «В Афганистане... Погиб, выполняя долг...» Как можно — из этого дома? Как будто с могилы цветы...

Село погрузилось в истому. Клуб высвечен из темноты. Певца провожают и просят сюда возвратиться не раз. — Спасибо. Чудесная осень, — рокошет взволнованный бас, — мне так хорошо среди вас...

А он подбегает с букетом: — Прошу вас... про ямщика... — Но песню старинную эту я пел вам сегодня. Пока!

Пока... Покатились колеса, вдали огонек подмигнул, и кто-то, совсем безголосо, в строю «Степь да степь...» затянул.

10.

— Что, ребята, соскучились без работы? Ну, покатаем сейчас — на всех четырех! До Григорьевки сыпь себе, как горох, а за ней уже — знай, считай повороты, как пойдет под колеса Усинский тракт...

И пошел. И — гляди-ка!-- снег на горах.

Снег в Саянах. Чистейшая белизна.  
Нет, не вечная. Но — почти постоянно.  
Что внизу? Еще осень... Уже весна...  
И чистейший снег на Саянах.

Далеко до зимы: конец сентября,  
только лиственницы чуть-чуть зажелтели,  
и ложбины дымятся, словно горя...  
И сияют снега. Над ними — заря...

— Ну, ребята, гляди, не жми почем зря —  
в третьем годе здесь налетели.

11.

...Почему — Веселый перевал?  
Многим он веселье перервал.  
По-иному как-нибудь назвать бы...

Говорят — но кто это видал?—  
здесь когда-то «улетела» свадьба,  
с бубенцами, с песнями — в обрыв...  
Вот он и Веселый. С той поры.

Говорят, когда ползет туман  
утром, выплывают из обрыва  
эти тройки: ленты в буйных гривах,  
колокольцев звон да смех счастливый...  
Говорят: оптический обман.  
Говорят...

Шоферский глаз остер.  
Что ему — туман? И что — виденья?  
Болтовня да суеверный вздор.

А почти стемнело. И костер  
возле тракта. Что за наважденье?  
И откуда — из прошедших лет?  
— Гошка, ты?— Ну, я. Ты думал — нет?

12.

Ох, какие они были молодые!  
До чего же были парни удалые!  
Всю войну прошли, дороги фронтовые  
и вернулись, отстояв свою Россию.

Да, вернулись — не вином, Победой пьяны,  
замахнулись подчинить себе Саяны:  
кто на запад, все на запад шел с боями,  
для того полтыщи верст — не расстоянье.

Где по тракту, где по горным конным тропам —  
не асфальтовая, брат, тебе Европа!—  
но зато ни пулемета, ни шрапнели —  
только ветры да песчаные метели.

А дружили? Да не то, чтобы дружили —  
рядом жили, трудно жили, спорно жили,  
ярко жили, жарко жили, споро жили,  
нет, не кровь — живой огонь бежал по жилам,  
были злы, и жадны были — но не лживы!

Жили, жили... И теперь живут. И — живы!  
Не прошли их времена, не вышли сроки,  
недописаны об этой жизни строки,  
не указаны границы и пределы...

— Что ж ты, Гоша, загораешь у дороги?  
— Да деталь одна в машине полстела.  
— Н-да... Машина так машина... Будто с фронта...  
И детали нет в запасе — для ремонта?  
— Нету. Где ж они остались — с тех времен-то?  
— Ну, Георгий... Я-то думал, что умен ты...  
— Эх, Иван!.. Я тоже думал по-другому:  
сам, по винтику, собрал ее из лома,  
доказать хотел: мы с ней еще послужим!  
И вот надо же — застрял в какой-то луже...  
— Ладно. Что загоревал-то, друг-дружище?  
Вот до места новичков своих доставим,  
в гараже детальку нужную отыщем —  
и вернусь. Вдвоем к утру ее поставим.

13.

Вот и ворота открылись — родные такие...  
Только поставить машины — и все. По домам.

Смотрит Иван, а в дежурке сидит Евдокия.  
Дуся-шоферка. Ее-то и надобно нам.

Дуся-шоферка, в заломленном лихо берете,  
с Гошкой, с Иваном работала наравне.  
Дальних дорог и метельной седой крутоверти,  
ветров песчаных степных, поднимающих смерчи,—

нет, ничего не боялась. Должно быть, и смерти?  
Даже и смерти. Хотя не была на войне.  
Шуплой девчонкой, военною сиротою,  
на бесшоферье, решила — и села за руль.  
В радость ей было тяжелой дорогой крутою  
с грузом идти...  
А соседки шептались: к добру ль  
девушке эта готовность в любую дорогу?  
Были наслышаны всякого о шоферах...  
Дуся-шоферка... Она не слыла недотрогой.  
Ехала — пела. Про Чуйский неведомый тракт.

А шоферить перестала — и словно померкла  
жизнь для нее: пустота, ни детей, ни семьи...  
Дуся-шоферка. Бобылка. Пенсионерка.  
Только дежурства ей в радость: кругом — все свои.

...Первым поставил машину. Покамест другие  
возятся — входит в дежурку и, дружески, ей:  
— Слышь, Евдокия... «Техничку» мне дай, Евдокия.  
Гошка на тракте засел... Выручай, да живей!

— Господи, Гоша! Да где он там? На перевале?  
Веришь — сама бы поехала, истинный свет!..  
Где же тебе без начальства машину давали?  
Ночь... Ни начальника... Даже диспетчера нет.  
— Дуся, опомнись! Да ты ли, голубушка, это!  
Что же, выходит — начальство дороже друзей?  
Гошка же там, на дороге, замерзнет до света!  
Дай мне «техничку»! Ну, Дуся! Решай же скорей!

— Ладно, бери, выводи, поезжай — да не мешкай!  
Ради Георгия. Только. Всегда ты дурной!..  
— То-то же, Дуся! — Иван отвечает с усмешкой.

Трое подходят тем временем к проходной.  
Видят: как раз из ворот выезжает «техпомощь».  
Первым — Орлан: «Дядя Ваня, куда вы, куда?»  
Сразу костер у дороги не хочешь, да вспомнишь:  
видно, была неспроста остановка тогда...

Крикнул Орлан: — Дядя Ваня, по стойте, мы с вами!  
Вещи на лавку Монгуш положил в проходной...

Снова дорога. Обратно, своими следами,  
четверо едут. Но только в машине одной.

14.

Напряжение трудных дорог.  
Напряжение творческой мысли.

Плотогон ли проходит порог,  
космонавт ли, спортсмен ли, артист ли —  
человек! В самом высшем свершенье,  
всею силой, всей волей своей,  
от ногтей до сведенных бровей  
напряжен...

А спадет напряженье —  
и усталость осилит. И ты,  
осознав, что, увы, не железный,  
отступаешь под власть темноты.

И тогда уже все. Бесполезно.  
Ты устал. Ты смертельно устал.  
И товарищи — тоже устали?

Лед блестит на пути, как хрусталь.  
И скользишь. И заносит — местами...  
Эй, не вздумай дремать! Поворот...  
Свет взвихрится и искрами брызнет...

Напряженье дорог и работ  
обрывается вместе с жизнью.

15.

Гадай теперь, кому какие сроки,  
кто прожил век и кто не прожил век...

А от костра, с обочины дороги,  
рванулся им на помощь человек —  
к той бреши, что пробита в ограждение  
дороги за Веселый перевал...  
На выручку идет. Он — в напряженье.  
Недаром у костра он ночевал.

На тракте замерла одна машина,  
потом другая встала — вслед за ней:  
по склону, до подножья от вершины,  
пройдут, найдут... Чтоб выяснить причины  
и все, что можно, сделать для людей.

Ведут... несут... Вот Вячеслав... И Митя...  
— И мальчик?— Жив?— Пока надежда есть...  
— Там должен быть еще один! Ищите!  
Нет, лучше не ищите. Он — не здесь.  
Он там, на невысокой той высотке,  
где взвод его когда-то насмерть встал,  
где тлен рождает жизненные соки  
и травы прорастают сквозь металл.  
Он там, пока живет на свете память,  
живет и плачет, плачет и пост...

А если этой памяти не станет —  
так кто ж тогда на помощь нам придет?  
Кто защитит? Кто остановит стужу  
бесчеловечной, вечной пустоты?  
Кто за людей отдаст живую душу?  
Кто жизнь отдаст, чтоб жил на свете ты?

Придет же кто-то!.. И, открыв ворота,  
в привычный рейс машину поведет.  
И будет жизнь. Дорога. И работа.  
И память, человечества забота,  
живет и плачет. Плачет — и поет.



*Монгуш Олчей-оол*

## **ЕДИНСТВО**

Братская дружба прочнее скал —  
мудрость народ в веках отыскал.

Братская дружба... По силам ей  
вычерпать глубь бездонных морей,  
и рукотворное море создать,  
и человека к звездам поднять.

Кровью пролитую скреплено,  
в мире трудами закалено,  
крепнет единство. Знаю одно:  
силы народной корень — оно.



*Александр Даржай*

## **ЧАА-ХОЛЬ. 1950-й ГОД**

Врезалось в память мальчишке на все времена:  
синие горы, с которых спустился народ  
в новую жизнь,— половодьем бурлила она.  
Первое имя аратской артели: «Вперед».

Новая жизнь. Вот приметы ее в те года:  
стук топора допоздна, блеск тесовых ворот.  
Плотник по имени Сат хромоногий тогда  
по-фронтовому командовал:— Взяли! Вперед!

Трудно мне было понять измененье судьбы —  
и окрыленность, и звучный удар топора —  
только вставали, росли и сияли столбы,  
словно солдаты, в шеренгу любви и добра.

Помню кино, ребяташек, усевшихся в круг,  
фильм о войне: как горела у танка броня...  
Бабушкин помню неповторимый испуг:  
телом своим заслонила меня от огня.

Праздник Победы — как расцветающий сад:  
жаркие скачки сменились борьбою хуреш.  
И на трибуну, хромой, поднимается Сат,  
с болью о селах сожженных ведет свою речь.

Наше село — не гляди, что уже ветеран,—  
славно живет, хорошеет в родной стороне —  
памятник Сату, скончавшемуся от ран.  
Памятник селам, сожженным на страшной войне.

## **ИМЕНА**

Имена.

Имена.

Имена.

Стоят они,

как на параде,

на мраморной белой плите.



Рядовой...

Сержант...

Лейтенант...

Из каких они мест?

Сколько было им лет?

Не указаны даты и место рождения.  
Да и нужно ли это —  
все они сыновья  
единственной в мире Отчизны Советов.  
Пусть будет им пухом Украины земля.  
Здесь, у чистой криницы,  
где нынче хожу я  
и воду пью жадно,  
их смерть стерегла.  
И прожито мало, а выстоять надо.  
Любою ценою, чтоб совесть не жгла.  
Хоть не было в жизни побед и наград,  
но Родина-мать за спиною стояла,  
грядущее время младенцем кричало...  
Ни шагу назад — это очень немало...  
А значит — ни шагу, ни шагу назад.

А было ведь время — резвились бездумно  
и слышали вечный в свой адрес укор:  
— Ну молодежь пошла...

И молодежь пошла!  
Грудью закрыла Россию от бешеных свор.

Мать и отец да простят меня,  
но павшие их сыновья  
в единой семье родились,  
и вскормила  
их дружба людей,  
как родная семья.

И прожито мало... Но вечно со мною  
и в памяти сына и внука им жить.  
Как солнце с землею,  
как небо с водою,  
священна их память.  
Над памятью братской,  
как над могилой солдатской,  
огонь негасимый дрожит.



## МЛЕЧНЫЙ ШОВ

На синем снегу будто след табуна —  
мне звездная россыпь в небе видна.  
И детство я вспомнил. Водила тогда  
в кино меня мать. На экране — война:  
солдаты в строю, и земля вся горит!

— Смотри, там твой дядя,— мне мать говорит.  
Но нет, не увидел я дядю в кино —  
солдатские лица сливались в одно.

Вернулись мы в юрту, и не было слов,  
а на небе Млечный заискрился шов,  
и он мне напомнил глаза тех солдат —  
узнать бы, кто жив, кто вернулся назад...

А дядя остался навек на войне.  
Не помню лица его. Горестно мне.  
Но светят мне звезды, глядят с вышины,  
как очи погибших. Как память войны.

\* \* \*

Театр — как мир. И, словно шар земной,  
вращенье на оси свершает сцена.  
Под театральным солнцем и луной,  
как в жизни, происходят перемены.

В последнем акте выстрелить должно  
ружье, что в первом на стене висело.  
Таков закон драматургии. Но  
у аналогий тоже есть пределы.

Ведь если в жизни выстрелит «ружье»,  
то для нее наступит — это ясно —  
наипоследний акт — небытие.  
Об этом надо помнить ежечасно!

## ИЗ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ТЕТРАДИ

### *Восьмистишия*

Разве лишь потому, что я сам — азиат,  
что во мне табуны сквозь столетья летят,  
белой ночью иду на Аничков гранит,  
и душа каменеет у теплых копыт?

Нет! Сюда потому приношу я цветы,  
что свежи на граните осколков следы,  
что от воя снарядов, летевших к Неве,  
и сегодня с ума сходят кони в Туве.

\* \* \*

Белый лев на граните у черной воды  
снежным комом играет, не чуя беды,  
знать не зная, что вновь надевает метель  
всю в огнях фонарей боевую шинель.

Снег летит из вечерних глубин синевы,  
но спокойно, как прежде, дыханье Невы.  
И покуда ей душу не выстудит лед,  
мне она, словно мама, тепло отдает.

## ПОСЛЕ ДЕМОБИЛИЗАЦИИ

### *Диалог в отделе кадров*

— Где вы, юноша, форму носили? —  
улыбнулся седой кадровик.

— Я служил и работал в России,  
и сражаться, и строить привык.

— Что ж, солдатский ответ...

И матросский.

Как зовут вас и сколько вам лет?

— Мы с товарищем Лениным тезки.  
Вот он — мой комсомольский билет!

— А награды?

— Взгляните: в билете —

шесть заслуженных мной орденов.

— Ваша цель?

— Мир крепить на планете.

Жизнь отдать я за это готов.

Тот, кто вечною славой одарен,—  
или брат, или родственник мой:  
например, Королев и Гагарин,  
Железняк и Олег Кошевой.  
С ними молод я снова и снова!  
С миллионами братьев пришел.  
Вы берете?  
— Конечно. Но кто вы?  
— Я, как вы и как все,— комсомолец!



*Игорь Иргит*

## **СЫН ДВУХ МАТЕРЕЙ**

*Баллада*

Ночь скрыла пыль  
и поглотила звезды.  
И в этом напряженье темноты  
великий Днепр нес тихо воды  
и распускала яблоня цветы.  
Ночь темная.  
«Не видно глаз коня»,—  
в такую ночь тувинцы говорят.  
На Украине говорят:  
«От груши яблоню не отличишь».  
А яблоня в саду цвела,  
дремавших пчел к себе маня,  
и медом разливалась тишь.

Тогда за тысячами верст,  
в Туве,  
ударил гром.  
И раскол  
столб коновязи.  
И Улуг-Хем, как конь, заржал,  
взревел,  
и волны кинулись на землю разом,  
и в юрте  
в мир ворвался крик младенца —  
забилося трепетное сердце.

Каким он рос?  
Совсем обычным,  
как тысячи других росли.  
Пошел впервые на добычу —  
и плакал, зверя подстрелив.

Впервые друга он обидел —  
и свету белого невзвидел.  
Впервые... Девичьих ресниц  
лукавый взмах —  
и он, как взрослый,  
ночами стал глядеть на звезды,  
а на рассвете слушать птиц.

Мать знает больше.  
Разве не она  
ночами зимними,  
перед приходом сна,  
тихонько напевала у огня?  
Не сказки, нет — легенды, были  
ребенку спутниками были,  
в таинственную даль маня:  
про удалого Дажы-хана,  
про храброго Амыр-Сана,  
про шестьдесят богатырей...  
И, повторяя вслед за ней  
прославленные имена,  
он словно сам входил в их станы,  
учился мужественным быть,  
учился Родину любить.

О Украина!  
Солнцем напоенная,  
ты пахнешь хлебом,  
сочною травой.  
В гудении шмеля,  
в полете его сонном  
нам мнится вековой покой.  
Здесь грозди винограда, словно бусы  
в косе тувинки — в девичьей косе.  
Здесь песня парубка, наполненная грустью,  
дрожит высокой нотой в росе.

О Украина! Мать родная  
для русского,  
узбека и туркмена,

эстонца, дагестанца и тувинца—  
все в чреве твоём спят.  
Всех греешь ты, под сердцем сохраняя,  
как грела каждого живая мать.

Окопы скрылись в голубые травы.  
Земля! Ты — памятник солдатской славы.  
Сыны в твоих воспоминаньях  
горят огнем на площадях.  
В бессмертных боевых рядах  
есть командир,  
есть боевое знамя.

Был день.  
Был дрожащий голос  
слезами счастья наполнен.  
В снегах и пустынях знойных  
был слышен гремящий голос.  
Наша советская гордость,  
голос народа-титана:  
«Победа! Победа! Победа!»—  
голос Левитана.

Есть время думать и плакать.  
Есть время врага судить.  
Дождей весенняя слякоть  
наполнит жизнью сады.

В молчанье Житомир и Ровно.  
Леса запоздало цвели.  
В Карпатах, изломанных бровью,  
слышится песнь земли.

Песнь погибшим героям,  
песнь дождей и ветров,  
песнь пчелиного роя  
и детских босых шагов.

Симфония жизни мудрой.  
Пашне преданный грач.  
Солнцем звенящего утра  
реет в Карпатах кумач.

Уж сколько лет нас будит по ночам  
стон умирающего мальчика-солдата.  
Салюты праздничных торжественных парадов  
стекают ало по мужским щекам.

Пределом скорби — длинный ряд имен.  
Гранитных, но живых имен.  
Как безразлично длинен он!  
Он отрешает от живого взгляд,  
он тает голубою высью  
сияющих украинских небес...

И грянул гром.  
И молнию о землю высек.  
И расколол столб коновязи.

Сын  
каменным задумчивым лицом  
мать встретил и сказал:— Я жил тобой.  
Я шел в последний бой.  
Я был бойцом.  
Погибнуть был обязан.

Ей криком не прорвать  
торжественный покой.  
Года сжимают сердце ей тисками.  
Он вечен.  
Он в материи иной.  
Ладони пламени лицо его ласкают.

-- Сын мой. Любимый, ласковый. Ты здесь?  
Скажи, сынок, тебе не жарко?  
— Нет, мама. Жарким был тот бой.  
Он сжег меня. И не себя мне жалко —  
жаль, не свершил я праведную месть.  
Ты помнишь, мама: в юрте мы с тобой,  
и ты рассказываешь мне про Дажы-хана,  
ушедшего из жизни рано?..

— Так это я,  
чтоб ты спокойно спал,  
чтоб рос прилежным и упорным...

— Нет, мама. Чтоб последний мой привал  
не запятнал я трусостью позорной,  
чтоб храбрым был и честь не потерял.  
Со мной твоя негаснущая нежность  
и Украины мать — тебе сестра.  
Велик мой дом —  
земля моя безбрежна,  
Высок мой долг —  
жить в пламени костра.

Шумят на Украине вязы...

В Туве, в затерянном аале,  
рожала мать.  
Жизнь продолжала.  
И грянул гром.  
И расколол  
столб коновязи.



*Николай Куулар*

## **СТЕПЬ**

Обманчив покой равнодушных песков.  
Они — словно память,  
в них прошлое скрыто.  
О Родина-мать, в юрте веков  
ты свято хранишь базырки.

Ты много,  
бесчисно,  
героев взрастила.  
Их много,  
бесчисно,  
погибло в боях.  
Холмы-базырки — не просто могилы:  
в них мужество предков.  
В них совесть твоя.

О Родина-мать, ты из юрты своей  
не счесть проводила племен и людей:  
за легкой добычей ушли они вдаль,  
стрелой просвистели — и нет ни следа.

Но те, кто тяжелую ношу несли  
и, потом и кровью пески орошая,  
могилы отцов, как поля, берегли,  
детей ожидали, как ждут урожая, —  
дела свои, помыслы к юрте твоей  
на общее благо они приносили,  
и не было веры святей и трудней,  
чем та, что сознанием народа взрастили.

## **БАЛЛАДА О МЕДНОЙ ПУГОВИЦЕ**

В день Победы гремят оркестры,  
грохочут салютов мирные залпы.  
Праздника эхо разносят ветры  
по селам России,  
тувинским аалам.



В далеком аалс,  
в селе Торгалыг  
медную пуговицу  
с пятиконечной звездой  
мать достает.  
И на запад алый  
шепчет:  
— Ну как же,  
ну как же ты так,  
сынок дорогой...

Сорок салютов по мирному небу.  
Сорок оркестров — и все по тебе.  
Сорок раз в поле возрос колос хлебный.  
Сорок проклятий  
я послала судьбе.

Пуговку эту тебе пришивала  
в том, в сорок третьем,  
далеком году.  
Нет, не рыдала, когда провожала.  
Только коня привела в поводу.

Соколом взвился в седло мой сыночек,  
в бой молодая отвага звала.  
Грудь распрямил —  
и, как звездочка ночью,  
пуговка медная в пыль сорвалась.

Вот и храню эту кроху у сердца.  
В праздник ли, в будни — в руках подержу.  
Как наяву, ты приходишь из детства.  
Вспомню — поплачу.  
Поплакав — горжусь.



*Галина Принцева*

### **СТАРОЕ ФОТО**

Берем его с книжной полки.  
Стираем чуткую пыль.  
Задумчиво и негорько  
листаем небыль и быль.

Ты тонкие руки ломала,  
ты спать не могла ночами,

в черемухах белых мама  
с девическими плечами.  
Смеющаяся, как лето,  
по пояс зашла в траву...  
Как больно,  
как чисто это —  
во сне или наяву?

Но снова — до сладкой дрожи —  
ударит военный оркестр!

Там —судеб святая схожесть,  
там белые платья невест,  
там зов человеческой боли,  
и голод,  
и кровь,  
и война —

а здесь, на ломком картоне,  
такая звенит тишина,  
такое поет мгновенье,  
отпущенное судьбой!

И чья-то жаркая верность,  
и чья-то большая любовь,  
и смертная чья-то дорога,  
что не привела назад...

Вернись,  
чтоб по-новому строго  
в мои заглянуть глаза.

## **РЕКВИЕМ. 1945**

Нет, поднято кладбище это  
не зря высоко,  
высоко над долиной!  
Здесь ярче рассветы,  
и звонче ветра,  
и слышнее прилет журавлиный.  
Родные могилы,  
бессмертно и немо глядящие в вечное небо,  
от горя земля укрывает.  
Лишь радужной птицы,  
поющей забвенью на ветке летящей весенней,  
любви в этот день не хватает.  
Печаль и доверье,  
покой бесконечный навеки ушедших, нетленных.

Дрожь первой травы,  
что пришла перазгаданной вестью  
из рук их смиренных.



*Юрий Вотяков*

## **К ВЫСОТЕ**

А они все ползли и ползли,  
будто не было сил не ползти.  
Будто пули их не стерегли.  
Будто страх не сжимал им виски.

Доползти до траншей...  
И — в штыки.  
И живые, и мертвые — все...  
Знают только фронтовики:  
нету сил не ползти к высоте.

\* \* \*

В бубен закатного солнца  
красный ветер ударил  
и, гикнув,  
в пляс пустились снега,  
а потом понеслись,  
проскакали невиданной конницей,  
эскадроны теряя  
на дальних крутых берегах.  
Не приснится такое.  
Такое не вычитать в книжках.  
Надо жить под знаменами  
красных надежд.  
Красный ветер ударит —  
и тем, кто не сдался и выжил,  
говорю вам —  
до встречи в тот памятный день.

А снега...  
А снега занавесили степи.  
Конский топот все глуше.  
И не всадники —  
ветер свистит в проводах.  
Этот ветер в меня  
наваждение ночи обрушил.  
Это юность отца  
протянулась ко мне сквозь года.

\* \* \*

Строки стихов — отмычки  
к тайникам человеческих душ.  
Кто-то зажженной спичкой  
ночь разомкнул в саду.  
В крохотный круг света  
вышли из темноты  
подстриженные на лето  
желтых акаций кусты.

А может быть, это — детство,  
подстриженное под ноль...

Госпиталь по соседству —  
в серых халатах боль.  
А лиц, к сожаленью, не помню.  
Халаты, бинты, костыли.  
Кровавые маки тампонов  
росли во дворе из земли,  
алели в мусорной яме,  
на пустыре горели...  
Медсестры с большими глазами  
здесь часто, украдкой, ревели.  
А после ихнего плача  
на кладбище холм вырастал.

Твердела в глазах ребячьих  
болью отлитая сталь.

Больно, а лиц не помню.  
Халаты, бинты, костыли.  
Кровавые маки тампонов,  
помню, росли из земли.

\* \* \*

Дочери Алене и сыну Федору.

А наши окна на восход глядят  
и первые лучи в себя вбирают.  
А в комнате  
так сладко дети спят  
и улыбаются,  
и над землей летают.

Ребячьи сны:  
улыбка, смех, полет,  
воздушные шары в руках у мамы...  
Да, пусть в них страх вовеки не войдет,  
и пусть война не отягчит их память.

Головки детские восход позолотил.  
Так сладко спать,—  
должно быть, это счастье.  
Пусть никогда не даст упасть им  
сознание и познание высоты.

Мне тоже спились сны,  
и я во сне летал,  
но все скрывался, отбивался от погони,  
и в черно-белом сне свистел металл...  
Я падал на обугленные кроны.

Так пусть же снятся им воздушные шары  
и разноцветный мир, усеянный цветами,  
чтобы у них была иная память  
и в светлых далях — новые миры.



*Аркадий Захаров*

### **ВОЕННАЯ ЛЮБОВЬ**

В военный год, в фуфайке латаной  
пришла любовь ненастным днем.  
Но все равно такую ладною,  
таким вдруг брызнула огнем!

А город, разбомбленный снова,  
истерзан и изранен весь,—  
с презреньем слал врагу не стоны,—  
в нем говорили честь и месть.

И слышал я проклятья гадам,  
когда уже неумоги,  
и видел, как стервятник падал,  
дымясь в полнеба на лету.

Но, против смерти протестуя,  
любовь крепчала с каждым днем.  
...Я понял истину простую:  
мы любим — значит, мы живем.

### **ПАМЯТЬ МАТЕРИ**

Гармошка у военкомата  
поет, задорна и легка.  
Уходят в армию ребята —  
у матерей в глазах тоска.

И солнца свет для них не светел,  
и песни их не веселят.  
Опять припомнят сорок третий  
и невернувшихся солдат.

И снова так близка утрата...  
А сколько лет уже подряд  
уходят в армию ребята  
и возвращаются назад.

## **ОРДЕНА И РАНЫ**

Наградила всем война,  
в жизнь ворвавшись рьяно.  
На мундиры — ордена,  
под мундиры — раны.

Ордена ласкают взгляд.  
Только здесь иное:  
в праздник ордена горят,  
в будни раны ноют.



*Анатолий Шкоркин*

## **КУЗНЕЦ**

Верхонки снимет. Не спеша закурит.  
И спичку бросит в медленный огонь.  
Усталые глаза слегка прищурит.  
В своей руке сожмет мою ладонь.  
Одернет по-солдатски телогрейку,  
крутнет усы, как бравый старшина.  
Присядем мы на узкую скамейку  
поодаль закопченного горна.  
Поговорим о чем-нибудь — о важном,  
насушном для села и для страны,  
потом он, как обычно, тихо скажет:  
«А главное — чтоб не было войны».

Но осознать придется лишь с годами,  
как был тогда немногословен он.  
И вот теперь я напрягаю память:  
война. Кавалерийский эскадрон...

От кузницы и камня не осталось —  
пришкольный парк листвою шелестит.

В сполохах гроз за дальним перевалом  
неудержимо конница летит.  
То — время в яростном разбеге мчится.  
Чем старше мы, тем беспокойней сны.

...И я листаю памяти страницы,  
чтоб сыновья не видели войны.

## **КИНОМЕХАНИК**

Сельский клуб я надолго запомнил:  
нам в простуженном, тесном зале  
на каникулах зимних школьных  
кинофильм о войне показали.  
Чтоб не зябнуть, друг к дружке жались...  
Прямо в нас наведя автоматы,  
по земле, седой от пожарищ,  
сапогами пылили чужие солдаты.  
И, срываясь прямо с экрана,  
на передние наши скамейки  
наползали с крестами танки...  
Из детей кто-то крикнул: «Не смейте!»

Это было в пятидесятых —  
нам от силы по десять лет.  
Мимо нас прошли автоматы.  
Вспыхнул в зрительном зале свет.

Только старый киномеханик  
все курил и курил на крыльце,  
наш вопрос угадав заранее,  
помрачнел, изменился в лице.  
Одноногий и рябоватый,  
ждал, сигарку долго гасил.  
«Дядя Петя, вы были солдатом?»  
Но об этом никто не спросил.

## **МУЗЫКА**

Вытерта натруженной ладонью  
горькая солдатская слеза.  
Фронтвик играет на гармони,  
вдаль глядят незрячие глаза.  
Мы притихли, мы почти не дышим,  
гармониста взяв в полукольцо,  
каждым нервом чувствуем мальчишьим,  
как напряжено его лицо.

Почему так врезалась мне в память  
та послевоенная весна?

И солдат потом, знакомясь с нами,  
все не мог запомнить имена.  
Но в игре своей он был неистов,  
и басы гремели, как гроза.  
Оставались лишь у гармониста  
неподвижными одни глаза.

Будто припорошенные пеплом,  
через годы снова жгут меня.

Плавился металл в восшом пекле.  
Музыка рождалась из огня.

### **СТАРИК**

Метель разгулялась по улице,  
в сугробы насыпала звезд,  
от ветра и стужи сугуляются  
под окнами спины берез.  
«Зима нынче выдалась лютая»,—  
старик, для порядка ворча,  
бессонной ночью укутывал  
посапывающих внучат.  
Дожди всю весну и лето —  
старик опять за свое:  
«Прошоркали небо ракетами,—  
без роздыху льет и льет».

А годы текли без возврата,  
и слезы текли из глаз:  
видавшему виды солдату  
заснеженный виделся плац.  
Белили февральские вьюги  
казармы, дворцы и Неву,  
рябило в глазах от хоругвей,  
плакатов, штыков и трибун.

Не всем довелось вернуться,  
но он вернулся домой,  
пройдя сквозь огонь революции  
и двух сокрушительных войн.  
В простреленной серой шинели  
знакомым проселком шагал.  
На сердце награды горели,



под сердцем ржавел металл,  
все больше заморской ковки...  
Да разве об этом речь?  
«Подумаешь, пуля в легких,  
главное — сердце сберечь».

И сердце стучало исправно  
без малого сотню лет.  
Глядя на резвых правнуков,  
еще молодился дед.

Шли годы, и как-то ночью  
проснулся он в тишине.  
Крупновской стали кусочек  
напомнил о той войне.  
Берлин.

Весна.

Сорок пятый.

Ему — пятьдесят седьмой...  
И вдруг смешала все даты  
под сердцем жгучая боль.

...Лежал он, спокойный и мудрый,  
словно прилег отдохнуть.  
Белело за окнами утро,  
и санный стелился путь.



*Кондратий Емельянов*

## **РОДИНА**

Двадцать лет —  
юность —  
сердце мое.

Двадцать лет —  
тело —  
литая сила.

Двадцать лет —  
гордость —  
дыханье мое  
на рубеж боевой водила.

Век двадцатый.  
Было:  
черного солнца каленый ствол.  
Век двадцатый —  
дорожной пыли  
полон сапог походный твой.

Век двадцатый —  
  ядерной былью  
вознесен и запятнан теперь,  
и планету несут реактивные крылья  
в бесконечность тревог,  
  в неизбежность потерь.

Два года —  
  вера твоя.  
  Ты ждешь.  
Мальчишкой ушел я.  
  Приду солдатом.  
Здесь тоже бывает весенний дождь,  
маки опять сольются с закатом  
сегодня...

Родина!  
На выступе —  
  пуль росчерк.  
Навстречу смерти —  
  шаг сгоряча.  
В истории  
  среди прочих —  
  прочерк.  
Он до конца молчал...

Прости меня, герой,  
за все:  
  за смех и песни,  
за поцелуй любви,  
  за цвет весной.  
Прости, герой.  
  Ты — неизвестен,  
но столько лет твой шаг чеканит строй.

И пили жизнь, и пели песни,  
и было восемнадцать лет...

Земля чужая в парашютных стропах.  
Десант, десант —  
  прыжок,  
  рывок,  
  бросок.

Удар о воздух,  
        купол — ввысь!—  
                                и ветра грохот...  
Змеей шуршит сухой песок.  
Земля чужая — некуда укрыться.  
Смелей, ребята,—  
                                это не игра «Зарница»,  
смелей, ребята,—  
                                это смертный бой...  
Слетелись соколы  
                                воды напиться —  
смочили губы  
                                травленной водой...  
Земля чужая —  
                                наша боль...

Двадцать лет —  
        юность —  
                                сердце мое.  
Двадцать лет —  
        тело —  
                                литая сила.  
Двадцать лет —  
        ярьсть —  
                                дыханье мое  
на рубеж боевой водила.

Молодость — артерия жизни.  
В витках Вселенной пульсирует кровь —  
наша кровь,  
        кровь погибших —  
единая кровь.  
Наша горечь —  
        нет жизни лишней,  
наша память —  
        звезды вечны,  
наша совесть —  
        мир человечества,  
наша сила —  
        рабочие плечи —  
Родина!



## БЕССМЕРТНЫЙ ОГНЕННЫЙ ТАРАН

Гвардейскому экипажу танка в составе: командира гвардии лейтенанта Дмитрия Комарова, 22 лет, из города Шахуньи Горьковской области, Героя Советского Союза; механика-водителя гвардии сержанта Михаила Бухтуева, 19 лет, из Тувы, Героя Советского Союза; стрелка-радиста гвардии рядового Григория Петрухина, слесаря из Пензы; заряжающего гвардии рядового Ахмета Хисматуллина, 40 лет, колхозника из Татарии, — таранившему 25 июня 1944 года на станции Черные Броды Гомельской области Белорусской ССР фашистский бронепоезд, посвящается.

То лето было грозное.  
Сверкали молнии «катюш»,  
и гром орудий над землею  
катился в глубь полесских пуш.

Добить фашизм — отребье злое —  
стальная рать на запад шла.  
И каждый бой рождал героев —  
святая месть на бой звала.

...Когда-то мирный полустанок  
в укрепрайон враг превратил,  
и батальон гвардейских танков  
преграду встретил на пути.

Вот бой жестокий с краю леса  
грохочет, движется вперед...  
Фашисты в страхе, Но по рельсам  
им помощь сильная идет.  
Огнем рыгая, злобно воя,  
оставив прорези-глаза,  
в крестах чудовище стальное  
из леса стало выползать.

Танкисты дружно бьют по башням —  
ствол главной пушки замолчал.  
Вдруг танк передний,  
вздрагнув страшно,  
огнем багровым запыхал.

В горящем танке — словно в топке,  
гвардейцев душат дым и гарь.  
Но танк ведет без остановки  
водитель в сторону врага.

Что делать? В люки? Бесполезно.  
Назад? Но враг по нашим бьет.  
И командир приказ железный,  
очнувшись, тут же отдаст:

— Держись, ребята! Миша, газу!  
Вперед! Смелее! На таран!  
Бухтуев газ прибавил — сразу  
танк начал скорость набирать.

На узком, тесном поле боя —  
сверканье, грохот, шквал огня.  
И понеслась на бронепоезд  
горящим факелом броня.

На насыпь танк со страшным рыком  
взлетел, как грозный метеор,  
и мощной грудью в беге диком  
толкнул чудовище в упор.

Металла треск сильнее грома  
раскаты боя заглушил.  
И неподвижной грудой лома  
фашистский лютый зверь застыл.

Их было четверо — героев,  
богатырей родной земли.  
Сразив врага броней стальнойю,  
они в бессмертие ушли.

...Бегут по рельсам эшелоны.  
Полесский край шумит, цветет.  
Героев павших поименно  
людская память назовет.

*Чыргал Серен-оол*

### «ГРОЗА ПРИНОСИТ ПОЖАР...»

Тема воинского подвига — одна из главных и широко освещаемых в тувинской советской литературе.

С древних времен тувинцы крепко почитали воинскую отвагу, смелость и силу, ум, честь и преданность своей родине, своему народу. Из поколения в поколение передавались сказания и песни о богатырских подвигах соплеменников. Герои тувинского эпоса — «сильные среди сильных, храбрые среди храбрых, удалые среди удалых», но и «мудрые среди мудрых, добрые среди добрых». Они не знают поражений в борьбе, никому не уступают в красноречии. В эпосе подчеркивается, возвеличивается и гиперболизируется мощь, богатырская сила героев. Они и их кони растут и взрослеют не по дням, а по часам. С достойными противниками богатыри обычно борются три месяца — девяносто суток, и в конце концов подняв и закружив, так бросят противника на землю, что «синее небо заколыхалось, черная земля задрожала...» Храбрые, мудрые эти герои всегда берут верх над жадными и недалекими ханами, богачами, завоевателями.

В то же время, уважая и почитая храбрых воинов, тувинский народ всегда отрицательно относился к войне как таковой. Об этом свидетельствуют и народные пословицы — «Гроза приносит пожар, война приносит смерть»...

Как былинных песенных богатырей, восславляет наш народ и реальных исторических своих героев. Много сложено песен и устных преданий о восстании шестидесяти богатырей. Фольклористы собирают ныне эти творения народа, писатели используют их в своем творчестве.

Героические подвиги наших предков становятся предметом размышления профессиональных литераторов, материалом для их стихов, баллад, поэм, рассказов, повестей и романов, исторических и героических драм. Так, находка археологами при раскопках древнего меча с надписью дала Ю. Ш. Кюнзегешу повод для создания двух прекрасных баллад — «Меч Багыра» и «Кок-Эль». Фанта-

зия автора в них сочетается с реалистическими бытовыми картинами, создается убедительный образ далекого прошлого народа.

О восстании шестидесяти богатырей первое крупное произведение создал драматург В. Ш. Кок-оол. Тема протеста против гнета и бесправия, отчетливо слышная еще в первой его драме «Хайыраан бот», получила полное и яркое развитие в героической драме «Самбажык». Множество поэм и стихов разных авторов посвящено этой теме, неоднократно проходит она и в рассказах и повестях М. Б. Кенин-Лопсана и М. И. Пахомова, из более молодых авторов — В. А. Бузыкаева.

Народный писатель Тувинской АССР С. А. Сарыг-оол не успел закончить роман о подвиге шестидесяти богатырей. Он довел повествование лишь до момента казни вождей восстания. Роман заслуживает издания отдельной книгой и на тувинском, и на русском языках. Прекрасно написаны в нем и те страницы, где рисуются страшные картины жестокости и гнета, и те, где созданы образы самих богатырей — борцов за народ.

Еще одна героическая страница истории Тувы — участие аратов-тувинцев в национально-освободительной борьбе против маньчжуро-китайских колонизаторов. В Кобдинском сражении тувинцы и монголы, сражаясь рука об руку, разгромили захватчиков. Эти факты легли в основу повести народного писателя Тувинской АССР С. К. Тока «Кобдинское сражение». Главными героями повести являются люди из народа, такие, как Шалык Кижир-оол, Оюн Ужар-Маадыр, Бай-Кара Тактан, показаны их героизм, любовь к родине. Но плоды победы присваивают феодалы...

С этой повестью перекликается крупный эпизод первого, Черного тома дилогии Қ.-Э. К. Кудажи «Улуг-Хем неугомонный». Арат Сульдем описан в нем как истинно народный герой. Это он сам догадался уничтожить единственную пушку захватчиков, набив во время ночной вылазки свинцом ее ствол; при выстреле пушка разорвалась. Но славу Сульдема тут же присваивает себе чиновник Херик-бошка. Психологически убедительно описаны ранение Сульдема, его лечение в русской семье, взаимная дружба и величайшая тоска арата по своей родине.

Быстрое и могучее влияние Великой Октябрьской социалистической революции на судьбы людей Тувы нашло отражение во множестве произведений поэзии и прозы. Часто в них встречаются героические страницы о подвигах красных партизан, русских и тувинцев. Напомню известное каждому тувинцу со школьной скамьи стихотворение С. Сарыг-оола «Огонек», поэмы С. Пюрбю «Чечек» и «Время», М. Кенин-Лопсана «Я — сын Октября», С. Сюрюн-оола «Схватка в тайге», О. Сувакпита «Герои живут» и многие другие поэтические произведения. В прозу эта тема пришла с первыми книгами трилогии С. К. Тока «Слово арата», «Повести о светлом мальчике» С. Сарыг-оола. В автобиографических повествованиях отражено становление сознания юноши-арата, бедняка, батрака, превращающегося в воина, защитника революционных завоеваний. Взяв лучшего коня из табуна чиновника, на которого батрачил, уходит к партизанам и герой «Повести об Эргепее» народного писателя Тувинской АССР С. Б. Пюрбю, а потом, появившись вновь среди табунщиков, рассказывает им о том, кто такие красные и белые, говорит им о Ленине. Агитатор действу-

ет с успехом: батраки все ушли в партизаны. Драмы «Красный поток» и «Дружба», написанные в соавторстве с В. Ш. Кок-оолом, продолжили эту тему в творчестве Пюрбю. Пьесы эти неоднократно ставились и в Тувинском республиканском музыкально-драматическом театре, и в народных театрах и самодеятельных драматических коллективах районов республики, и всегда популярны у зрителей.

Эпопея К.-Э. Кудажи «Улуг-Хем неугомонный», уже здесь упоминавшаяся, развивает эту тему дальше. Весь второй, Красный том посвящен революции и пробуждению классового, революционного сознания трудовых тувинцев.

Если в первом романе М. Б. Кенин-Лопсана «Настигающий птицу» слышатся лишь отголоски революционных событий, то во втором, «Судьба женщины», страницы, посвященные матросу революции Саше Горбунову, его дружбе с батраком-тувинцем Тодугбаном, который стал красным агитатором, их страшной и героической гибели от рук белогвардейских палачей — одни из самых сильных. Школу партизанской войны проходит и Сылдыс-оол, любимый главной героини Кулчи, из покорного байского табунщика вырастая в бойца и строителя новой жизни.

Интересен вклад в эту тему русских прозаиков, чье творчество связано с Тувой. Повести М. И. Пахомова «В предгорьях Танды», «На распутье», «Утро древнего края» (первая и вторая книги) буквально пронизаны революционной тематикой. Подлинные события описаны в них просто, жизненно, правдиво и убедительно.

Достоверно отражение гражданской войны в Туве, ее воздействие на людей разных национальностей и слоев населения в повестях и рассказах В. П. Ермолаева. Фотожурналист, очевидец всего происходившего, он старался с фотографической точностью воспроизвести жизнь Тувы того времени во всех деталях, часто ярких и запоминающихся. Таковы повести «Элескей», «Где золото роют в горах», «Приключения Норбушки», «Изгнание». Рассказ «Темнота» интересен тем, что события показаны взглядом бывшего белоказака, которого новая жизнь заставила осознать несправедливость тех, на чьей стороне он воевал, и собственную темноту. Во всех названных и других произведениях этого прозаика проходит тема дружбы русских и тувинцев. Привлекает живой и точный язык ермолаевской прозы.

Свежо и по-своему переданы события гражданской войны в Туве в повести М. Кожедеева «Весенние ветры».

Великая Отечественная война сразу побудила тувинских поэтов, а позже — и прозаиков сделать перо оружием в общей борьбе. Стихотворение «В бой!», написанное С. Пюрбю, стало любимой песней тувинских добровольцев. В другом стихотворении, «Красный обоз», поэт отразил трудовой подвиг народа, помогающего Красной Армии и Советской стране в борьбе против фашизма. И юноша, и седой старик на вопрос автора, что они везут в обозе, с гордостью одинаково отвечают:

«...Я везу советским людям дар!  
Я красным их полкам везу подарки, друг!  
Я — к Родине любовь огромную везу  
и ненависть к врагам — народную грозу».



Так, наряду с подвигами воинов в бою, воспет и трудовой подвиг народа во имя Победы.

В те же годы написаны повесть С. Сарыг-оола «Подарок» и ряд его стихов, посвященных славным тувинским добровольцам. Среди этих стихов — «Вечная слава», широко известная не только тувинскому читателю, но и русскому, благодаря прекрасному переводу С. Гудзенко. А среди стихотворений о тружениках тыла очень популярно в народе «Хорлу ка-дай», ярко показывающее самоотверженность аратки, не пожалевшей для Красной Армии лучших ярок своей отары.

Оригинально повернул военную тему в одном из стихотворений 1942 года Б. Д. Ховенмей. «Пропала надежда» называлось оно, в форме сатирического диалога между генералом и офицерами фашистской армии высмеивались захватчики. К столь подробному, с элементами психологизма и политической сатиры показу стана врага лишь через много лет обратился в героической драме «Одиннадцать» К.-Э. К. Кудажи.

Триумф победителей, парад на Красной площади в Москве, возвращение фронтовиков — вот темы множества стихов и очерков тувинских авторов в первые послевоенные годы. Торжество и ликование сочетаются со скорбью по погибшим. Чем дальше от нас война, тем острее ощущаются потери. Если в балладе С. Пюрбю «Чыргалбай», в эпилоге, рядом с героем, красным партизаном времен гражданской войны, отмечающим в старости свой юбилей, появляется его сын, стройный гвардеец Демирбей с орденом Красной Звезды на груди, то в поэме «Время» того же автора подобная связь поколений прорисована глубже и трагичнее. Брат человека, от лица которого поэт ведет повествование, Маадыр-оол, партизана в годы гражданской, погибает, заживо зарытый в землю белобандитами. В партизанском строю его сменяет сам повествователь с любимым другом Сарыгбаем. Гибнет и Сарыгбай. Эстафета подвига передается сыну рассказчика Оруспаю, который в годы Отечественной войны, встав в ряды добровольцев, также героически гибнет на земле Украины, на реке Икве:

«...Оруспай  
на пулемет упал,  
страну родную и народ собою заслонил».

И остается уже его сын, Чолубай, он становится горняком-геологом, на его груди — трудовой орден, а имя его отца Оруспая носит улица родного поселка.

Большое место заняла тема Великой Отечественной войны в творчестве С. К. Тока. Впервые — в пьесе «Осуществленная мечта», где появляется русский, советский офицер-фронтовик с рассказом о боях, а трудовые усилия главных действующих лиц подчинены общему лозунгу: «Все — для фронта, все — для Победы!» Среди документальных повестей С. Тока «Сын народа» полностью посвящена жизненному пути и воинским подвигам тувинского добровольца-танкиста, Героя Советского Союза Хомушку Чургуй-оола. Причем показан он не в одиночестве, а среди товарищей-добровольцев, героизму которых также посвящены добрые слова, в своей интернациональной танковой роте Ивана Шашина, — ее, после ранения командира, принимает старший лейтенант Сайфутдинов, татарин. В другой

документальной повести, «Хайыраканцы», речь идет о мирном труде. Но среди ее главных героев — Тимофей Кузегеевич Пичен-оол, один из тувинских добровольцев, фронтовик, награжденный за воинские подвиги орденами и медалями. Это он, став председателем отстающего колхоза, поднимает хозяйство до уровня передового, затем преобразуемого в совхоз.

Интересно, что о Хомушку Чургуй-ооле написал в свою очередь небольшую документальную повесть и С. Б. Пюрбю. А вообще одному этому герою посвящен большой ряд стихов, поэм, баллад, созданных с 40-х и по 80-е годы поэтами разных поколений. Столь же в тувинской литературе популярны образы Тюлюша Кечил-оола и Сата Бурзекея: о них — множество стихов, в том числе известная баллада О. О. Сувакпита, страницы повестей и романов, наконец, пьесы «Одиннадцать» К.-Э. Кудажи, «По велению сердца» П. Иванкова.

Трудно писать о войне тому, кто не воевал. И все же героическая драма «Одиннадцать» показывает и фронтовые будни добровольцев-пулеметчиков, и их ярость в бою, и гибель. Коллективный подвиг одиннадцати как бы дополнен подвигом одного — отважного Тоютчука, схваченного врагами, но не покоровшегося им. Даже враги, поначалу поверившие той маске «простодушного дикаря», которую предложил им разведчик, были поражены его мужеством. И — еще новое в теме Отечественной войны в тувинской литературе — мы видим немца-антифашиста, того, кому предстоит после победы над фашизмом строить новую демократическую Германию. О достоинствах драмы Кудажи свидетельствует ее популярность на Украине, на Ровенщине, где среди зрителей, без сомнения, есть еще люди, хорошо помнившие войну и подвиг тувинских добровольцев, очевидцами которого они были.

В первом романе М. Кенин-Лопсана «Настигающий птицу» подробно и с любовью описана жизнь семьи тувинского арата в год начала войны. Мирно живет семья, но и до нее доносится отзвук событий, происходящих далеко на Западе, и самое дорогое — любимого коня, ставшего почти членом семьи, отдает фронту старый Саадак. В других романах того же автора — «Танец козерога», «Юрта табунщика», «Колыбельная бабушки» — слышатся как бы отголоски войны.

По свежим следам возвращения фронтовиков написана была одна из самых светлых повестей В. П. Ермолаева «Зарницы». А в наши дни к этой теме обратился Д. Сарыкай.

И фронт — боевые действия тувинских добровольцев, и тыл — Тува в годы войны — достоверно показаны во второй книге повести М. И. Пахомова «Утро древнего края». И здесь — все та же преемственность: сын красного партизана гражданской войны Самдан, пройдя школу ревкомольской и партийной работы, борьбы против остатков феодализма, уходит на фронт. Гибнут его боевые товарищи, друзья юности, сам он возвращается израненным — но не уронил знамя младший брат, тоже доброволец, и, ценой тяжелых потерь и испытаний, одержана Победа!

Из пяти книг, изданных Н. А. Сердобовым, два романа и повесть посвящены Великой Отечественной войне. У этого автора свой поворот темы, его произведения славят подвиги чекистов в годы войны, беспощадно разоблачает он предателей, прислужников фашизма. Несколько

перекликается с творчеством Н. Сердобова повесть С. Сюрюн-оола «Поручение лейтенанта».

Цикл стихотворных новелл А. Ф. Емельянова «Красные и белые» — это отображение, прежде всего, преемственности поколений, того, что воевало за новую жизнь Сибири в годы гражданской войны, и того, которое защищало эти завоевания на фронтах Отечественной. Наиболее сильно действует на читателя одна из этих новелл: «Пятьсот нас было, младших лейтенантов...»

Еще дальше прослеживает преемственность в ряде стихов, поэм и баллад С. В. Козлова. Назовем «Балладу о комиссарской звезде», «Балладу о демобилизованном солдате», где продолжателем подвига Героя Советского Союза Михаила Бухтуева назван его племянник и тезка, советский воин наших дней. Воздала С. Козлова должное и подвигу тувинских добровольцев. Ее поэма «Кавалерист-девица», посвященная участнице Великой Отечественной войны Вере Байлак и пронизанная образами тувинского народного эпоса, издана отдельной книжкой на тувинском языке, в переводе К. Черлиг-оола.

Много пишет о воинском подвиге и творческая молодежь, лозунг «Никто не забыт, ничто не забыто» нашел отклик в сердцах молодых поэтов Тувы.

Завершая беглый обзор произведений тувинской литературы военно-патриотической тематики, хочется отметить и талантливо написанную оду Салчак Молдурги «Благословение коммунисту». Поэт посвятил ее подвигу Георгия Димитрова, психологически обоснованно показал моральную победу болгарского революционера над фашистским судилищем. Автор сумел создать правдивый образ борца, как бы проникнуть в болгарский народный дух. Это и есть подлинный интернационализм творчества.

Я остановился в обзоре далеко не на всех произведениях на тему воинского подвига. Их много, и, без сомнения, будет создано еще немало, и этот творческий труд наших тувинских писателей поможет запечатлеть в веках имена народных богатырей и героев от древности до современности.



*Сергей Баур*

## **ВО ВСЕОРУЖИИ ПРАВДЫ**

Писателей, прошедших самое серьезное жизненное испытание — войной, в нашей стране много. Не одно поколение. Но в Туве — только двое. И говорить о войне оба не любят. Разные творческие подходы и литературные почерки, разные жизненные судьбы.

Николай Алексеевич Сердобов, выпускник Московского педагогического института имени В. И. Ленина предвоенного 1940 года, прошел всю войну от начала до конца. Математик, он служил в артиллерии, но не в обычной артиллерии: в его обязанности входило разведывать «точки» для установки новой по тем временам боевой техники — «катюш».

Анатолий Федорович Емельянов войну встретил школьником, в Сибири. Военное училище, сначала тоже артиллерийское, потом — пехотное. На фронте младший лейтенант Емельянов был недолго, уже почти в конце войны, военным переводчиком. Но кровь пролить успел. Многие в нашей республике слышали его лекции, но вряд ли кто-нибудь подумал при этом, что у лектора — пулевое ранение...

У каждого из них свои счеты с войной, свой посох памяти, своя литературная борозда.

Читателям хорошо известны книги Николая Сердобова — «Добро и зло», сборник рассказов и повестей, вышедший в 1959 году, романы «Цена жизни», «За хребтами Саянскими», «Войной опаленные», повесть «Продолжение не последует». И научные труды заслуженного учителя школы РСФСР, заслуженного деятеля науки Тувинской АССР, доктора исторических наук. Особенно популярна книга «История формирования тувинской нации» — крупное исследование длительного и сложного исторического процесса.

В статье под заглавием «Во всеоружии правды», опубликованной в газете «Правда» 29 июня 1983 года, А. Б. Чаковский пишет об одной из встреч с зарубежными читателями: «...На одном из таких собраний в ФРГ оратор, обращаясь к советским писателям, с пафосом заявил:

— Почитайте наши книги, господа! У нас, если книга посвящена войне, то мы рисуем военных как злодеев. А когда вы пишете о минувшей войне, то ваши солдаты и офицеры изображаются почти всегда как герои. Разве это не пример милитаризации советской литературы?..»

«Ну, просто стыдно было отвечать,— пишет далее А. Чаковский,— что есть разница между палачом и жертвой, что дело чести писателя описывать бандита именно как бандита, а защитников своего дома, своей Родины — как героев».

Воистину достойный ответ!

Через все творчество Н. А. Сердобова проходит мысль о величии нравственного облика советского солдата. Вот как говорят об этом, например, герои его романа «Войной опаленные»: «Солдат для гитлеровцев кто? Пешка, не проходная притом, пушечное мясо. А для нас солдат — родной по кости, по духу человек. Его у пулемета, у пушки крепче металла долг перед Родиной держит. Разные миры воюют...»

И мы, читая этот роман, видим: неистребимость и высота духа русского, советского человека в том, что он не только выстоять может в самых невыносимых условиях, но и обладает способностью множить свои силы. Главному герою романа Петру Дробышеву (Волокнову) «выпало воинское счастье выстрадать «свой час» и начать действовать». Другого его героя, Степана Хлебцова, солдата, который ушел на фронт из Тувы, не покидают образы родной каахемской тайги, друзей-тувинцев, и в минуты отдыха он пересказывает боевым товарищам чудесную тувинскую легенду о трагической любви девушки Доспан, дочери жестокого Каратыхана, к юноше-пастуху Арзылану.

Но есть в книгах Сердобова и другие персонажи — те, с кем, как говорится, не только «в разведку вместе не пойдешь», но и кого людьми-то назвать совестно, для кого собственная шкура дороже социалисти-

ческого Отечества. Это и откровенная предательница Рената Шмидт, и трус, накопитель богатств на «черный день», тихий практичный хозяйчик Матвей Пастушков, Целуйко, Леонтьев... Сердобов разоблачает их последовательно и беспощадно.

Небольшая книжка под интригующим заглавием «Продолжение не следует» получила отличный отзыв в журнале «Сибирские огни» № 10 за 1984 год: «...Книга читается с интересом,— пишет критик В. Шапошников,— ее, что называется, проглатываешь в один присест, но поскольку в ней, помимо увлекательного сюжета, других очевидных достоинств мало, критика квалифицирует ее не более чем занимательное чтение. Но весь парадокс состоит в том, что читатель воспринимает подобные рецензии «от противного»: хвалены сочинения не читает, а на раскритикованные буквально набрасывается...»

Действительно, не одно только сюжетостроение привлекает в этой книге, а знание жизни. И еще одно: можно только удивляться работоспособности Н. А. Сердобова и его могучей вере в добро. Его книги учат современное молодое поколение ценить жизнь и распознавать врагов. Как не вспомнить высказывание Василя Быкова в «Литературной газете», в дискуссии на тему «Почему и сегодня мы пишем о войне»: «...Война представляет собой целый комплекс человеческих и общественных отношений, многие из которых так или иначе оказывают свое воздействие и на жизнь последующих за ней поколений».

Другая воинская и литературная судьба. В предвоенные годы мальчик из сибирской крестьянской семьи выступал уже с первыми стихами в газетах «Ударник социалистических полей», «Сталинские внучата». То было время, когда выходили в свет «Как закалялась сталь» Николая Островского, книги Гайдара. Эпоха челюскинцев, игры в Чапаева...

Теперь случается все реже мне  
встречать ровесников моих,  
и я с невольной строгой нежностью  
ревниво всматриваюсь в них.  
Вникаю, как прошла по душам их  
страда нелегких наших лет,  
не притемнился, не потушен ли  
в их душах нашей веры свет.  
Итоги прожитого времени  
в чертах ровесников видны,  
все их свершения, прозрения,—  
а может быть, и всей страны.

Так пишет поэт в наши дни, на пороге своего 60-летия, в стихотворении «Ровесники».

Воспитанный на поэзии Маяковского, Асеева, он воспринял войну как главную тему. Письма летели в Сибирь из освобожденных городов, и часто в этих письмах были стихи юного младшего лейтенанта:

И когда нам прикажет народ  
встать на бой за Отчизну и честь,  
он в сражение нас поведет,  
поведет на священную месть.

(«Песня о нашем командире»)

«...По всей Родине промчится наш поезд. А потом поганая чужая земля и поганые чужие люди — наши враги. Они изгнаны из нашей земли, но их нужно окончательно успокоить», — пишет Анатолий Емельянов домой с дороги на фронт, в ноябре 1944 года. На войне выкристаллизовывается характер человека, познается цена дружбе, цена слову. В испытаниях войны выковывается и подлинный интернационализм. Военному переводчику Емельянову нелегко было разговаривать с врагами, были то переодетые, замаскированные эсэсовцы или белоэмигранты, всячески упиравшие на то, что и они, мол, русские. Но и в тех исключительных условиях побеждал гуманизм советского, социалистического строя. И для молодого коммуниста, воспитанника комсомола, не могло быть чужим горе простых трудовых людей — поляков, австрийцев, немцев, чьи судьбы искалечила война. И вершиной не только знания немецкого языка недавним сибирским школьником, но и сознания воина-победителя стала речь, произнесенная по-немецки младшим лейтенантом Емельяновым в одном из коммунистических клубов Австрии.

Молодой офицер изучал иностранные языки и музыку, жадно впитывал общечеловеческую культуру. Для него уже не могло быть «поганных» земель или народов. Но ненависть и отвращение к фашизму и порождающей фашизм буржуазности сохранились навсегда.

Недаром сегодня в таких книгах, как «Быть человеком» (беседы с молодежью, 1982 год), «От мира не уйти» (документальные повести и очерки, два издания — 1978 и 1984 гг.), в стихах, особенно сборников «Если ты человек» (Кызыл, 1968), «Всегда в командировке» (Кызыл, 1973), «Упорство» (Москва, «Молодая гвардия», 1976), в газетных статьях и лекциях он дает бой мещанству, чуждой и враждебной советскому образу мыслей и жизни идеологии.

Но не знал еще младший лейтенант Анатолий Емельянов, запевала в курсантском строю, что в будущем станет поэтом земли сибирской, обо всем вспомнит, что-то подытожит, но главное — из всего пройденного пути вынесет веру в неизбежность торжества добра над злом.

А ведь без этой веры  
не может жить достойно человек,  
не может без нее он быть счастливым,  
и не жалеть о прожитом не может —  
ведь нет нужнее веры на Земле.

Его привлекала наука. В Московском университете, на отделении психологии философского факультета он стал учеником прославленного советского психолога академика Леонтьева. И сейчас пропагандирует идеи своего учителя. Университет был окончен блестяще — диплом с отличием, аспирантура, возможность «защититься», получить московскую прописку. Но манили дальние дали, истинная романтика 50-х годов позвала в маленькую таежную и степную Туву.

Жизнь состоит из встреч и разлук. Довелось Анатолию Емельянову в студенческие годы встретиться с любимым поэтом Николаем Асеевым — что-то асеевское ощущается и теперь в стихах Емельянова, — а позднее — с другим большим советским поэтом, Павлом Антокольским, с которым

завязалась переписка. На земле Тувы судьба подарила встречи с одним из зачинателей тувинской литературы — Александром Пальмбахом.

Вот что написал А. А. Пальмбах в рекомендации, данной А. Ф. Емельянову для вступления в Союз писателей СССР: «...Бывший фронтовик, участник Великой Отечественной войны, поэт-коммунист А. Емельянов приехал в Тувинскую АССР не на временное кочевье, а на постоянную жизнь в гуще народа, полную творческих забот, тревог и радостей...»

Емельянов создал стихи, которые стали поистине гимнами Туве и звучат в каждом посвященном росту нашей республики клубном концерте. Дружбой с замечательными тувинскими поэтами — Сергеем Пюрбю, Степаном Сарыг-оолом — дорожит он. Переводил их произведения, учился у них. Благодарен Олегу Саган-оолу.

Высокие и чистые слова  
идут от сердца к сердцу, как лучи.  
Поэта нет, но песнь его жива.  
Живет поэт, пока она звучит.

Мудро подметили наши предки: новые времена — новые песни. Неторопливые и правдивые раздумья о войне чередуются с раздумьями шестидесятых, семидесятых, восьмидесятых годов... И проникает в них тревога за будущее, за образ мыслей молодежи.

Поэт частенько заходит на занятия литературного объединения «Исток». Внимательно следит за творческим ростом каждого из его участников. Кого-то подбодрит, поддержит, что-то посоветует. Но не дай, как говорится, боже, если встретятся строки, идущие от сытости, штампы, тривиальные образы. Бессодержательные и беззаботные стихи некоторых молодых как бы «выводят» его из себя. Тут же он дает им бой беспощадный. Изошренная поэтическая техника без мысли и чувства, головоломные словесные комбинации А. Ф. Емельянова не устраивают. Ибо за плечами — память о войне, «народная мера правды о людях и событиях тех лет».

Об А. Ф. Емельянове можно смело сказать словами Константина Симонова, обращенными к творчеству Михаила Луконина: «Он не щеголял в стихах своим первым личным опытом, не кокетничал в них со смертью. Не шил себе поэтической шубы из каждой просвиственной над головой пули».

Да, это так. Но у поэта-фронтовика и в наши дни сердце кольнет при любой детали, напомнившей ту суровую годину. Мы бы прошли, не заметив, а фронтовику что-то напомнят кирзовые сапожки девушек-строителей возле общежития:

Даже сердце грустью защемило...  
Рад я, как друзьям-фронтовикам,  
неказистым, неуклюжим, милым  
кирзовым девичьим сапогам.

Значит, вы еще не оттрудились,  
не ушли в седую старину.  
Значит, вы еще не износились,  
до Берлина прошагав в войну.

...Значит, мы еще чего-то стоим,  
старые товарищи мои.

Не в обиду другим, более широко известным поэтам и прозаикам фронтового поколения, хочется сказать: мало мы еще придаем значения творчеству двух наших земляков. Не научились еще ценить жизненный и творческий подвиг тех, кто рядом, здесь, на тувинской земле.

Стихи, рассказы, романы о войне волнуют нас и сегодня. И мы должны отдать дань особого уважения писателям-фронтовикам, которые воспитывают новые поколения.

Так будем же внимательны к ним! Пусть они создают главную свою книгу — о Всенародном подвиге. Будем дружить, встречаться, вспоминать, читать их книги.



*Михаил Янчевецкий<sup>1</sup>*

## ВАСИЛИЙ ЯН В УЮКЕ И МИНУСИНСКЕ

В начале двадцатых годов, после установления Советской власти в Сибири, среди первых ее посланцев за Саянским хребтом работали учителями начальной школы в селе Уюке и «культурпросветчиками» командированные сюда Ачинским наробразом супруги Янчевецкие, Мария Алексеевна и Василий Григорьевич. Он был также информатором Минусинского РОСТА по Туве, еще именовавшейся Урянхайским краем, и сельским писарем. Янчевецкие учили детей уюкских крестьян грамоте, читали неграмотным взрослым вслух газеты и книги, разъясняли им декреты Советской власти, вовлекали сельскую молодежь в кружки художественной самодеятельности.

Здесь, зимой 1920—1921 годов, на вывешенных у школы и сельсовета подобиях афиш, впервые появился псевдоним В. Г. Янчевецкого — «В. Ян». Впоследствии так были подписаны многие широко известные исторические романы одного из первых лауреатов Государственной премии СССР.

В Уюке В. Ян написал несколько пьес для взрослых и детей на местные темы, и они были поставлены в Уюкской школе, рекомендованы к постановке Политпросветотделом Минусинского УКома РКП, шли потом на других сценах. «Спит деревня мертвым сном. Чем ее разбудить? Чем натолкнуть к ее природному творчеству? Сколько талантов остается невыявленными, заглушенными кошмарным самогонным дурманом!.. Театр! Вот кто разбудит деревню! Театр — могучее орудие борьбы против невежества. Театр понятен даже неграмотному. Вот он-то и необходим нашей деревне!» — писал в ту пору В. Ян в газете «Власть труда», № 15, за 23 февраля 1923 года, выходящей в Минусинске. Вспомним, что в тогдашнем глухом сибирском селе газеты и книги были редкостью, а о радио, кино, клубах если и знали, то лишь понаслышке...

<sup>1</sup> Сын известного писателя-историка Василия Яна, 110-летие со дня рождения которого отметила советская общественность.



На рукописном экземпляре комедии В. Яна «Сваха из Моторского» (село в Саянах), поставленной в Уюкской школе 12 марта 1921 года, надписано: «Пользовалась громадным успехом на Минусинской сцене 1-го Советтеатра... Желательна, безусловно, к постановке на деревенских сценах...» На рукописи пьесы «Деревня, проснись!» — такой отзыв: «Отсутствие пьес, отвечающих действительной жизни деревни, требует неотлагательно использовать настоящую пьесу на деревенской сцене... она дает очень много поучительного для деревни, в настоящее время особенно... Рекомендуем ее к широкому распространению на деревенские сцены... Зав. уполитпросвета Минусинского УКома РКП».

Небольшая бревенчатая школа с одним классом, вмещавшим 30—40 детей, изрядно обветшав, дожила до наших дней. Рядом с нею, наглядным примером перемен в жизни республики и страны, выросла новая, каменная двухэтажная Уюкская средняя школа со многими классами, где обучаются более 300 детей — тувинцев, русских, других национальностей, преподают сорок учителей.

«Красные следопыты», ученики школы и ее педагоги, потомки учеников двадцатых годов, идя «следопытской тропой», по следам судеб героев-односельчан, собрав материалы о шестидесяти шести бойцах Уюкской партизанской роты в годы гражданской войны в Туве и о восьмидесяти восьми участниках Великой Отечественной войны, не забыли и первых учителей своего села. Они прислали в Москву письмо, сообщив, что узнали о жизни и работе В. Яна и его жены в Уюке «из газеты и книги, где описаны прежний Уюк и его школа... Мы хотим, — писали они, — больше узнать о Василии Григорьевиче, иметь его фотографии, документы тех лет... Это так интересно, картины нам кровно близки, ведь они — наша история!» А рецензируя в газете «Тувинская правда» книгу «Писатель-историк В. Ян», автор статьи под названием «У нас в Туве, в Уюке» С. Баир в июне 1978 года, отметив, что книги В. Яна хорошо знакомы тувинским читателям, призвал: «найти старое здание школы, где учительствовал В. Ян, установить мемориальную доску в честь учителя-историка, писателя, горячо любившего Родину, детей, книги и путешествия...»

Получив материалы о В. Яне и его жене, следопыты разыскали старожилов, написали литературно-музыкальную композицию о жизни родного села и его школы в годы становления Советской власти, показали ее на слетах следопытов в Туране, Кызыле, Ульяновске, поставили в школе написанную В. Яном пьесу «Красноармейская звезда». Здесь ежегодно отмечают по традиции день рождения писателя неделей творчества В. Г. Яна, устройством праздничного вечера, конференцией читателей, выставкой рисунков на темы его книг. В созданном следопытами школьном Зале памяти героев-односельчан, красных партизан и воинов Советской Армии, есть стенды, посвященные первым учителям школы М. А. и В. Г. Янчевецким.

Под девизом «Будем достойны памяти В. Яна!» ученики и преподаватели школы борются за отличные показатели в учебе, добиваясь, чтобы школе было присвоено имя В. Яна, а на ее старом здании установлена мемориальная доска. Интересен их замысел — в старом школьном здании устроить музей дружбы народов имени В. Яна. Ведь то, что делал

и в Уюке, и вообще всю жизнь В. Ян, направлено на осуществление ленинской национальной политики — братства народов СССР.

Уюкские школьники и педагоги переписываются с комиссией по литературному наследию В. Яна, Правлением Союза писателей СССР; летом 1982 года, в связи с подготовкой к празднованию 60-летия образования Союза ССР и отмечая шестидесятилетие пребывания В. Яна в Присяянье, в Туве побывали представители комиссии — автор этих строк, сын писателя, и А. И. Хмелинин, художник, уроженец Саян. Они встретились с «красными следопытами» Уюкской школы — И. Бабичевым, Л. Байкара, Л. Кочмаревой, Е. Маады, Н. Новокрещеновой, Т. Отевой, И. Оюн, Т. Смирновой, Е. Холошиной, другими школьниками, их руководителями-педагогами Т. М. Чихачевой, П. К. Палиловой, С. П. Кирилловой, старшей пионервожатой Л. Д. Зеленовской, участвовали в торжественной линейке в первый день нового учебного года, обменялись памятными подарками, выступили на слете учителей Пий-Хемского района в Туране.

Члены комиссии побывали и в Кызыле, в редакции «Тувинской правды», печатавшей материалы об Уюкских следопытах и о пребывании В. Яна в Туве, на студии телевидения, осмотрели новое здание республиканского музыкально-драматического театра, посетили краеведческий музей имени шестидесяти богатырей, его историко-революционный филиал в Туране и историко-революционный мемориал в селе Кочетово, беседовали с их научными сотрудниками.

В долине реки Элегест, там, где в 1921 году отгремели последние битвы гражданской войны в Туве, они посетили рабочий поселок Хову-Аксы, встретились с рабочими, специалистами комбината «Тувакобальт».

Прощаясь с Тувой, представители комиссии обещали продолжать поддерживать уюкских следопытов и просили Союз писателей Тувинской АССР принять шефство над Уюкской школой.

Читателям, вероятно, интересно знать, как сложилась судьба В. Яна после того, как в конце 1921 года он с семьей вернулся из Тувы в Советскую Россию. Он проехал обратно так же, как и в Туву, на повозке, пересек Саяны по Усинскому колесному тракту, ныне шоссе Кызыл — Абакан, связывающему Туву с другими частями РСФСР, где в обоих направлениях круглосуточно движутся теперь автомашины. Поэтому члены комиссии проехали тем же путем до Минусинска, запечатлевая места, примечательные по эпизодам шестидесятилетней давности — гражданской войне и поездкам В. Яна.

В Минусинске В. Ян два года заведовал редакцией и был техническим редактором газеты Минусинского УКома РКП и Уисполкома «Власть труда», печатал в ней свои рассказы, статьи, фельетоны на актуальные темы дня и местной жизни. Подготовлен В. Яном был номер, посвященный третьей годовщине освобождения города от белогвардейцев, со статьями вожаков сибирских партизан П. Щетинкина и Ф. Бабкина, других партизан, цитатами из партизанской газеты «Соха и молот», с обзорной статьей В. Яна о партизанской печати. Несколько позже В. Ян опубликовал первый по тому времени очерк о жизни В. И. Ленина в Шушенском, затем подборки, посвященные пятой годовщине Октября и Декларации

1-го Всесоюзного съезда Советов, провозгласившего образование Союза ССР.

В. Ян продолжал писать пьесы, став первым советским драматургом Присяянья, «осовременившим» и «осоветившим» застарелый репертуар Минусинского городского театра. «...Бессодержательность, мещанская мораль старого гнилого общества сквозит во всех пьесах, разыгрываемых минусинскими театрами...— писал в газете В. Ян.—...Не мешало бы нашему театру перетряхнуть свой репертуар и обновить его произведениями, отвечающими современным запросам жизни. Время бросать старые пьесы, мораль которых потеряла всякое значение, вместе с похороненной навсегда буржуазной идеологией».

Здесь, в театральном сезоне 1922—1923 годов, увидели свет рампы актуальные тогда драмы В. Яна «Нита» («Колчаковщина») и «Невеста красного партизана», политические фарсы «Нота лорда Керзона» и «Капиталист в тачке», комедия «Деревня, проснись!» и «Сваха из Моторского», пьесы для детей «Красноармейская звезда» и «Дети всех стран — соединяйтесь!»— первые советские пьесы в Саянах, шедшие с большим успехом, в переполненном, хотя и неотопливаемом, холодном зале и горячо воспринимаемые зрителями, участниками недавних бурных революционных и жгуче-современных событий, воспроизведенных на сцене. Ставились пьесы В. Яна обычно «с благотворительной целью», актеры-любители и профессионалы играли бесплатно, и иногда роли исполняли сам автор, его жена, дочь, сын...

«Наш местный автор В. Ян закончил пьесу «Невеста красного партизана»... по своей художественности и смыслу она может считаться одной из передовых сибирских пьес... Автор смело задумал передать символически всю гниль старой «Единой и неделимой Святой Руси» и Автономной Сибири, с выскочкой Колчаком, и показать Красную Армию, торжествующую победу над белобандитами... Пьеса по своей правдивости заслуживает огромного интереса...», «...Поставленная 17 августа в Совтеатре, пьеса т. Яна имела огромный успех... прекрасная по идее, она отражает недавнюю эпоху героической борьбы красных партизан с колчаковскими дружинниками и казаками. Удачно сочетание жизненной правды с художественной формой. Пожелаем Совтеатру, чтобы он почаще дарил публику подобными постановками!»— писали тогда в газете рецензенты.

Тогда же В. Ян задумал пьесу о сибирской ссылке В. И. Ленина, бывал в Шушенском, беседовал со старожилами села, сохранил в своем архиве записи, планы, наброски сцен, характеристики героев пьесы, оставшейся незавершенной.

Уехал В. Ян в Москву осенью 1923 года.

Комиссия по литературному наследству писателя не прерывает связи с Тувой и Минусинском. Их волнует возможность новых постановок пьес писателя на сцене Минусинского театра, одного из лучших и популярнейших на юге Сибири. Очень заинтересованы они и в открытии Музея дружбы народов имени писателя-патриота при Уюкской средней школе, в ее старом, к сожалению, разрушающемся здании, которое надо отреставрировать. Надеемся, что школе будет присвоено имя Василия Яна.

## СОДЕРЖАНИЕ

### ПРОЗА

М. Кенин-Лонсаи. Два дерева от одного корня (из романа «Юрта табушипка»). <i>Перевод С. Козловой</i> . . . . .	3
Е. Тапова. Из повести о старшем брате . . . . .	10
Д. Сарыкай. И он пролил кровь. <i>Повесть</i> . . . . .	28
В. Тимофеев. Такая сладкая каша. <i>Рассказ</i> . . . . .	50
М. Пахомов. Встреча с прошлым (из повести). . . . .	59
С. Банр. Не забылось имя твое. . . . .	68
Боевые лошади уносили вас... <i>Миниатюры</i> . . . . .	69
Л. Батурина. Живое продолжает жизнь. <i>Повесть</i> . . . . .	70
В. Кай-оол. Сын Чагытая. <i>Рассказ</i> . . . . .	88

### ДРАМАТУРГИЯ

А. Емельянов. Прощание славянки. <i>Лирическая драма</i> . . . . .	98
--	----

### ПОЭЗИЯ

С. Сарыг-оол. Звезда Чургуй-оола. <i>Перевод С. Козловой</i> . . . . .	121
С. Пюрбю. Монумент. <i>Перевод К. Емельянова</i> . . . . .	122
П. Железнов. Стихи военных лет. . . . .	123
Б. Ховенмей. Сотворение Победы. <i>Перевод С. Козловой</i> . . . . .	125
Л. Чадамба. Красная площадь. <i>Перевод С. Козловой</i> . . . . .	126
О. Сувакнит. Баллада о Бурзекее. <i>Перевод П. Босенко</i> . . . . .	126
С. Козлова. Рейс. <i>Поэма</i> . . . . .	127
М. Олчей-оол. Единство. <i>Перевод С. Козловой</i> . . . . .	138
А. Даржай. Чаа-Холь. 1950-й. <i>Перевод И. Слепнева</i> . . . . .	139
Имена. <i>Перевод Ю. Вотякова</i> . . . . .	139
В. Серен-оол. Млечный шов. <i>Перевод А. Бергера</i> . . . . .	141
«Театр — как мир...». <i>Перевод Н. Новикова</i> . . . . .	141
Из ленинградской тетради. . . . .	142
После демобилизации. <i>Переводы А. Романова</i> . . . . .	142
И. Иргит. Сын двух матерей. <i>Баллада</i> . <i>Перевод К. Емельянова</i> . . . . .	143
Н. Куулар. Степь. . . . .	147
Баллада о медной пуговнице. <i>Переводы Ю. Вотякова</i> . . . . .	147
Г. Принцева. Старое фото. . . . .	148
Реквием. 1945. . . . .	149
Ю. Вотяков. К высоте. . . . .	150
А. Захаров. Военная любовь. . . . .	152
Память матери. . . . .	152
Ордена и раны. . . . .	153
А. Шкоркин. Кузнец. . . . .	153
Кинемеханик. . . . .	154
Музыка. . . . .	154
Старик. . . . .	155
К. Емельянов. Родина. . . . .	156
Г. Головаченко. Бессмертный огненный таран. . . . .	159

### КРИТИКА, БИБЛИОГРАФИЯ

Ч. Серен-оол. Гроза приносит пожар. . . . .	161
С. Банр. Во всеоружии правды. . . . .	167
М. Янчевецкий. Василий Ян в Уюке и Миусуниске. . . . .	171

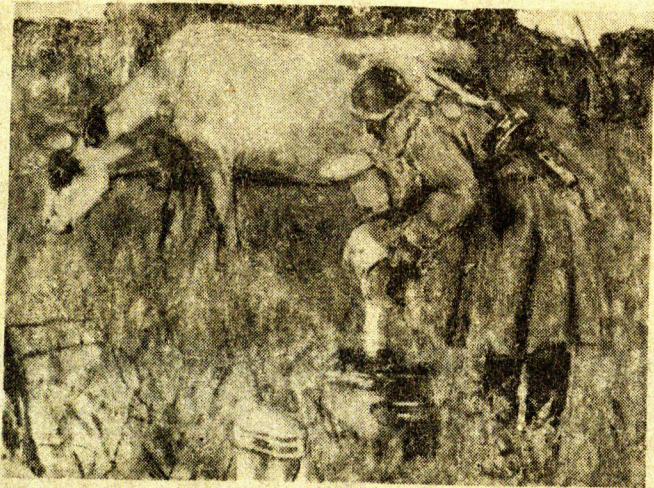
## УЛУГ-ХЕМ № 21

### Литературно-художественный альманах

Редактор издания Т. Е. Тупицына.  
На обложке фоторепродукции Ю. Г. Курского.  
Художественный редактор М. Ч. Чооду.  
Технический редактор А. А. Чернова.  
Корректор А. С. Казапцева.

Сдано в набор 4.03.85. Подписано к печати 13.05. 85. ТС 00549. Формат 60×90<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Бумага № 1. Гарнитура литературная. Печать высокая. Печ. л. 11. Усл. кр.-оттисков 11,38. Уч.-изд. л. 11,23. Цена 75 коп. Тираж 2000 экз. Заказ № 604. ТП 1985 г. Тувинское книжное издательство, 667000. г. Кызыл, ул. Щетинкина и Кравченко, 57. Типография Госкомиздата Тувинской АССР, 667000 г. Кызыл, ул. Щетинкина и Кравченко, 1.





КЫЗЫЛ  
ТУВИНСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

75 коп